БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ДАВИД ДАР

УТОПИЯ

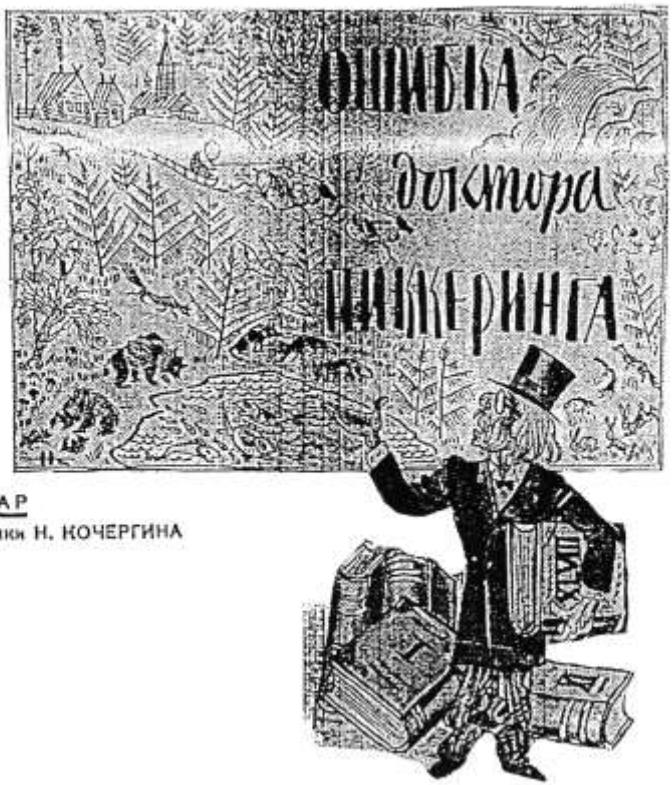
Фантастические произведения

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СПУТНИК ™»
2020

ОШИБКА ДОКТОРА ПИККЕРИНГА

Фантастический рассказ

Журнал «Вокруг Света», № 4, 1934 г.



Д. ДАР

Рисунки Н. КОЧЕРГИНА

Глава первая о том, как м-р Пиккеринг искал девственных богатств

М-р Пиккеринг — ученый и путешественник. У него рассеянный взгляд, сутуловатая фигура, клокастая седина, полуразбитые очки и увядшая слава ‹открывателя новых материков».

Но материки все открыты, но на географической карте не осталось «белых пятен», и ни одной, даже самой захудалой Америки не смог бы открыть в наше время Колумб.

Когда м-р Пиккеринг ехал в своем ландо по шумным лондонским улицам, он мечтал о дремучих лесах, непроходимых зарослях, звериных тропах; когда он глядел на грязное лондонское небо, на котором суета и сумятица световых реклам, он мечтал об узорах северного сияния, распростертого над безграничными ледяными полями; когда он сидел в своем кабинете, окруженный книгами и белыми бюстами, он мечтал о бамбуковой хижине африканца, о киргизской юрте, о самоедском чуме.

Дни и ночи был погружен м-р Пиккеринг в книги: в многотомные исследования, в обширнейшие атласы, в сложнейшие таблицы, в обстоятельнейшие описания путешествий.

Иногда м-ра Пиккеринга посещали заманчивые и сладостные сновидения. Он видел. Себя углубившимся в чтение какой-то замечательной книги, в которой находит указания на неведомый миру край.

Край населен чудовищами, похожими на ихтиозавров, и нищими, голодными туземцами, похожими на пещерных людей. Но вот он, м-р Пиккеринг, находит в этом крае железо, и уголь, и золото, и нефть. Он пророчит краю потрясающий расцвет. Но цивилизованный мир оскорбительно усмехается. Тогда м-р Пиккеринг речами, полными пламени, научными трудами и исследованиями, убедительными, как собственное зрение, завоевывает внимание и интерес к заброшенному краю. И вот край оживает. Строятся заводы, растут города с театрами, барами и трамваями. «Ихтиозавры» посажены в клетки зверинцев, а «пещерные люди», одев цилиндры, пьют ликер кюрасо и возводят ему, м-ру Пиккерингу, великому ученому и путешественнику, подарившему миру новую Аркадию — па-

Тут были разнообразнейшие книги...

мятник более величественный, чем статуя Свободы в Нью-Йорке.

И вот м-р Пиккеринг, чувствуя, что он начинает каменеть, превращаться в памятник, старается сбросить с себя каменную неподвижность. Ворочаясь, он разгоняет сон и просыпается.

Так жил м-р Пиккеринг седым и суетливым отшельником вплоть до самого 1921 года. А в этот памятный для него год случилось событие, определившее собою все дальнейшее его существование.

В книгах и атласах нашел он указание на край, ждущий своего открытия и освоения, край несметных богатств и непроходимых лесов, край непознанных возможностей и беспросветной дикости.

Глубоко взволнованным и патетическим тоном м-р Пиккеринг воскликнул:

— О, край непуганых птиц и непроходимых троп, я стану твоим Колумбом!

Взволновавшим м-ра Пиккеринга краем была советская Карелия. Чтобы укрепить

свою уверенность в том, что Карелия — как раз то, что ему нужно, чтобы проверить, действительно ли Карелия так богата и действительно ли она так заброшена и дика, м-р Пиккеринг обновил свои книжные склады, окружив себя всеми книгами, которые хотя словом упоминают о Карелии.

Тут были разнообразнейшие авторы — от первого русского академика до последнего русского министра. Тут были разнообразнейшие жанры, от летописи Соловецкого монастыря до докладной записки в Министерство путей сообщения о проекте постройки Мурманской железной дороги.

У первого русского академика М. В. Ломоносова м-р Пиккеринг прочел:

«По многим доказательствам заключаю, что и в северных недрах пространно и богато царствует натура, и искать оных сокровищ некому».

Это замечание бросило м-ра Пиккеринга в радостную дрожь. Из других книг он узнал, что в Карелии три тысячи крупных озер (мелких озер раза в три больше), множество быстротекущих и порожистых рек и водопадов, которые несут в своем течении свыше семи миллиардов киловатт возможной электроэнергии.

Подобны крупнейшему, сейфу богатейшего банка недра Карелии. В этом сейфе хранится золото, серебро, свинец, медь, железо, титан, ванадий, гранит, диабаз, шпат, кварц, слюда, [...], шунгит, гранат, мрамор, альмандин; порфир и много других руд и минералов.

В Белом море, реках и озерах Карельского края плавают разнообразнейшие рыбы: сельдь, навага, камбала, семга, лосось, кунжа, сиг, форель, налим, судак, ерш, карась, язь.

Свыше девяти миллионов гектаров заняты «зеленым золотом» — лесом.

И, однако, эти несметные богатства лежат непочаты. Их охраняет бездорожье. Жители ползут от погоста к погосту на самодельных «волокушах», волочащихся по болотистым тропам — ибо телега потонет и колеса завязнут в болотах.

Российское правительство использовало Олонию только как место ссылки. По свидетельству русского министра, графа Витте, экономическое лицо Карелии нисколько не преобразовалось ни в восемнадцатом веке, ни в первое десятилетие двадцатого века.

В начале двадцатого века во всей Олонии было всего лишь сорок девять промышленных предприятий с тремя тысячами занятых на них рабочих.

Самым крупным предприятием был Александровский завод в Петрозаводске, построенный еще при Петре Первом, и пронесший через века свои кирпичные стены и деревянные «машины». Кроме него, было три лесопильных завода, на каждом из которых работало по пятнадцати-шестнадцати человек, три кирпичных завода — по десяти-пятнадцати рабочих, один кожевенный завод с семнадцатью рабочими, железоковательный завод, работающий силами семерых рабочих, спичечная фабрика, завод восковых свечей и несколько фабрик ягодных экстрактов.

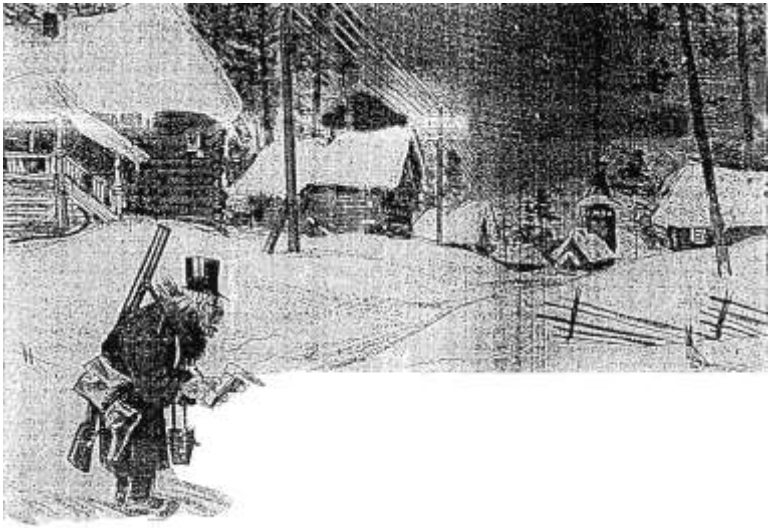
Этим и исчерпывалась вся промышленность дореволюционной Олонии. Из семи миллиардов киловатт возможной электровооруженности вся Олония использовала лишь сто киловатт.

Население Олонии вело нищенское и голодное существование. Не имея работы, не зная, куда приложить свой труд, не имея своего хлеба, крестьяне шли в кабалу к лесопромышленникам. Кабальный труд от зари до зари, грязь и болезни, пьянство и кулачные драки — таков был быт олонецких «дикарей».

Особенно сильное впечатление произвел на м-ра Пиккеринга наказ крестьян Ковдской волости, найденный им в одной из старых книг.

«Крестьяне ничего от промыслов не имеют, от гладной смерти между двор скитаются. Употребляют себе в пищу сосновый и березовый сок из-под верхней коры, гнилое дерево и белый мох, выталкивая наподобие муки и примешивая небольшую часть мукою».

Таким образом, сведения, почерпнутые из книг, вполне оправдывали Пиккерингов надежды: край ждет своего открытия, край ждет своего Пиккеринга, — и Пиккеринг поспешил навстречу своей славе.



Теперь Карелия была ему не страшна...

Теперь Карелия была ему не страшна...

Глава вторая о том, что увидел м-р Пиккеринг в Карелии.

Он пошел в магазин, и купил хорошее оружие для защиты от медведей. Он пошел в магазин, и купил двести двадцать четыре коробки спичек для защиты от волков, он купил десять кило шоколаду для защиты от голода, меховую шубу для зимы и полосатые трусики для лета.

Теперь Карелия была ему не страшна, и он отправился ее открывать.

С тяжело нагруженными чемоданами, с волочащимися по земле брюками, с всклоченной шевелюрой и неистощимым запасом надежд и энергии приехал м-р Пиккеринг в Карелию.

Была зима, и снежные вихри метались над лесами, озерами, поселками. В санях ехал м-р Пиккеринг сквозь вьюгу и ночь, держа путь в Олонец.

Ямщик был настроен благодушно, и весело пел песню о чьем-то чаепитии и дебоше, учиненном во время этого чаепития, а м-р Пиккеринг в протянутой руке держал револьвер, готовясь к встрече с медведем; другую руку он опустил в карман, до краев наполненный спичечными коробками, готовясь ко встрече с волками (он рассчитывал, увидя волчью стаю, разбрасывать во все стороны горящие спички).

В Олонце было тоскливо. Крестьяне бились над неродящей землей. Олонецкая интеллигенция билась над мудростью преферанса.

В Петрозаводске м-р Пиккеринг осмотрел Онежский — (бывший Александровский) завод. Щупал руками осыпающиеся от старости кирпичные стены. Долго разглядывал деревянный подъемный кран петровской постройки.

В Петрозаводске было не многим оживленнее, чем в Олонце. Улицы были горбаты и изрыты. Заборы стояла «набекрень». Ни одного нового здания, кроме автогаража, нельзя было увидеть в городе. Иногда появлялся на улицах легковой автомобиль, но он двигался медленно, так как слишком часто ему приходилось объезжать спящих посреди улицы свиней, собак и телят.

На стенах домов висели пестрые афишки гастролирующей труппы. Глубокомысленные козы сдирали их со стен. Они поедали сначала подпись администратора, затем фамилии рядовых актеров, и только после этого, вставая на задние ноги, протягивали морды к ярко нарисованным именам «любимцев публики».

Однако, несмотря на глубоко-провинциальный облик города, м-р Пиккеринг не смог не почувствовать и новых ноток, нарушающих тождество его представления о Карелии с подлинной Карелией двадцать седьмого года. Рядом с небольшим лесозаводом, расположенным на берегу озера, заканчивалась постройка механизированной лыжной фабрики.

На перекрестке двух улиц, — перекрестке, памятном лишь тем, что здесь назначались тайные свидания губернатора Протасьева с женой горного начальника – сейчас строилось каменное здание почтамта.

В столовой, устроенной в помещении собора, под громадным куполом, м-ру Пиккерингу часто приходилось встречаться с людьми, озабоченными будущим Карелии. Геологи, вынимая из своих сумок синие обеденные талоны, роняли на пол образцы вновь найденных минералов.

Небритые хозяйственники, потрясая портфелями, до хрипоты спорили о том, где впоследствии следует

построить завод окиси алюминия: в Кеми или Кандалакше.

М-р Пиккеринг посетил и Кондострой. На пустынном и скалистом берегу Онежского озера, на месте, где до сих пор стояла богадельня, населенная тощими убогими старцами и жирными, упитанными клопами, заканчивалась постройка первых в Карелии гидроэлектростанции и бумажной фабрики.

После утомительной качки в вагоне почтового поезда вышел Пиккеринг на станции Медвежья Гора, побродил между деревянными бараками железнодорожников и, не найдя ни горы, ни медведей, съездил в городок Повенец.

В Повенце домохозяйки рассказывали ему о политических ссыльных, некогда живших здесь. За крайним домом охотился м-р Пиккеринг [лакуна]

Из Повенца м-р Пиккеринг поехал в поселок Сороку на Белом море. Сорока стоит на островах. Старожилы рассказывали ему, как каждую весну и осенью разрезана Сорока на отдельные куски, и не попасть тогда с лесопильного завода домой или из дома в лавку.

В Сорокском порту стояли вмёрзшие в лед рыбачьи шхуны. М-р Пиккеринг в разговоре с начальником порта, из вежливости и желания сказать что-либо приятное, высказал предположение, что, наверное, это только зимой в порту так тихо, а летом должно быть, Сорокинский порт становится грохочущим и суетливым. Начальник порта обрадовался и подтвердил предположение ученого туриста:

— Да, да. Вы правы, летом у нас страшное оживление. Раз в месяц обязательно зайдет к нам какое-нибудь суденышко, скрываясь от бури.

Выли в Сороке беломорские ветры, выли в Сороке грустные собаки, выли в Сороке гудки лесозаводов, и,

спасаясь от гнетущей тоски нелюдимого севера, покинул м-р Пинкеринг Сороку.

Но немногим отличалась от Сороки и Кандалакша. Так же протяжно выл беломорский ветер. От судовых морозов звенело оледеневшее море. Многоцветная искрящаяся занавесь простиралась от горизонта до горизонта. Хмурые рыбаки рассказывали старинные поморские легенды. Но одновременно с этим визжали пилы только что выстроенного лесопильного завода, звон жести и запах масла стоял над новым рыбоконсервным заводом. На берегу быстротекущей и пенистой реки Нивы на гранитной скале стоял свежесрубленный деревянный дом метеорологической станции. Лопари, иногда приезжающие на оленях из северной тундры, рассказывали, что в Хибинских тундрах, на берету озера Имандра, около горы Кукисвумчорр появилось новое бродячее племя, вооруженное биноклями, нивелирами и геологическими молотами.

В Кандалакше сел м-р Пиккеринг в голубое от дыма купе железнодорожного вагона, возвратившего его в Ленинград.

Через неделю м-р Пиккеринг был дома.

Глава третья о том, как м-р Пиккеринг открывал Карелию

М-р Пиккеринг был вполне удовлетворен результатами своего путешествия. Карелия действительно оказалась краем неисчерпаемых богатств, краем, находившимся в младенчестве экономического расцвета, краем, где, как однажды воскликнул Герцен, «сотворение мира еще на листах не обсохло».

М-р Пиккеринг вез домой целый ворох записок, заметок, наблюдений, соображений, надежд и мечтаний. Ему казалось, что большая часть его дела уже сделана,

что все предпосылки к открытию Карелии — налицо, что осталось только привлечь к этому краю внимание всего человечества и, прежде всего, советского правительства. Для этого нужно действовать испытанным и проверенным методом солидных ученых: написать толстую и убедительную книгу, в которой были бы тщательно и детально разработаны все пути освоения Карелии и весь эффект этого мероприятия. Нужно, чтобы книга эта вызвала большой шум, чтобы о ней писали все газеты и журналы, и тогда... тогда куча благодарностей, куча денег, куча славы. Растроганные большевики тотчас примутся за осуществление Пиккерингова проекта, изберут его в почетные члены Академии наук, и увядающая слава «открывателя новых материков» воссияет опять с новой силой. Иногда только, когда вспоминал он о Кондострое, о новом племени хибинских кочевников, Пиккерингом овладевала смутная тревога: а вдруг Карелия уже открыта?..

Успокоения тогда искал он в газетах и во впечатлениях своего путешествия.

Газеты всех солидных буржуазных держав вещали миру об экономической разрухе в советской России, о сумасшедшем несбыточном пятилетием плане, о застое советской промышленности. Впечатления путешествия подсовывали памяти — бездорожье, болота, нищету и заброшенность края. Это вполне успокаивало Пиккеринга, и он усердно принялся за работу.

М-р Пиккеринг возвратился к прежнему образу жизни. Он опять затворился в своем кабинете, перерезал телефонный провод, занавесил шторой окно, окружил себя высочайшими скалами, сложенными из записных книжек, блокнотов, бумаг и тетрадей, — и вдохновенно предался систематизации привезенного

материала, анализу его соответствующим умозаключениям.

М-р Пиккеринг — не авантюрист, не студент и не репортер, чтобы легкомысленно выводить умозаключения. М-р Пиккеринг — солидный буржуазный ученый; он хорошо знает, как высоко ценится усердие, терпеливость и сосредоточенность исследователя, — потому он решительно отрешился от всего мира, от газет и событий, от города и улиц, от развлечений и бытовых беспокойств; потому каждый факт, каждую мысль и каждый вывод он неделями и месяцами обсасывал, облизывал, обнюхивал и ощупывал. Первые три года посвятил м-р Пиккеринг систематизации своего материала. Три последующих года посвятил он изучению материала и умозаключениям. Затем, в течение четырех лет, писал он свое сочинение: «Прошлое, настоящее и будущее Карельского края, исследованное и разработанное доктором естественных наук м-ром Пиккерингом».

И, наконец, одиннадцатый год пришлось посвятить чтению написанного сочинения.

В результате одиннадцатилетней сосредоточенной работы сочинение получилось даже несколько больше, чем рассчитывал сам Пиккеринг. Оно составляло сорок четыре объемистых тома, не считая одного тома вводного и двух томов заключительных, с табличным и справочным материалом.

25 июля 1938 года, теплым солнечным утром, закончил м-р Пиккеринг чтение последней страницы своей рукописи.

Прочтя свое сочинение, он пришел в неописуемый восторг от солидности и убедительности всех доводов автора.

М-р Пиккеринг не сомневался, что советское правительство назовет его именем столицу Карелии, и станет старый Петрозаводск цветущим Пиккерингбургом.

В сорокасемитомном Пиккеринговом сочинении было заключено не только подробнейшее описание Карельского края в прошлом и настоящем, но в нем (и это самое ценное) был указан замечательно разработанный в мельчайших деталях рецепт превращения Карелии в течение ближайших пятидесяти лет (это — не большевистская фантастическая пятилетка) в цветущий край с современной экономикой и культурой, с автодорогами, электропоездами и ночными барами.

В сорок третьем томе специальная глава была посвящена даже такому частному вопросу, как возможности утилизации северного сияния.

Одним словом, Карелия была открыта! В этот же день вечером м-р Пиккеринг написал отчаянно смелым почерком:

«СССР
«Москва
«Кремль.

«Милостивый государь, президент советских республик г-н Калинин.

«Имею честь сообщить вам, что в результате десятилетних кропотливых трудов над проблемой экономического освоения Карельского края я завершил свое *сорокасемитомное* сочинение, в котором совершенно исчерпывающе разработаны пути превращения Карелии в передовую и богатейшую страну.

«Прошу вас изъявить свое уважаемое согласие ознакомиться с сорока семью томами моего сочинения.

«С совершенным почтением
«доктор естественных наук
«*Пиккеринг.*

«Дано в Лондоне. Июль 1938 года».

На это письмо вскоре последовал ответ из Москвы, в котором м-ру Пиккерингу рекомендовалось связаться с академиком Ферсманом, так как академик Ферсман так же, как и м-р Пиккеринг, уже в течение пятнадцати лет занимается проблемой освоения естественных богатств Карело-Мурманского края и его, академика Ферсмана, Советское правительство вполне уполномочивает вести с м-ром Пиккерингом все переговоры по поводу Пиккерингова сочинения.

Адрес академика Ферсмана: СССР. Кольский полуостров, г. Хибиногорск, Апатитовый проезд; дом № 136. Кольский филиал Академии наук. Тов. Ферсману.

— О, это еще лучше! — обрадовался м-р Пиккеринг: — коллега всегда поймет коллегу. Кто, как не ученый, сможет раньше всех зажечься моим пламенем, вдохновиться столь смело начерченным мною перспективами?

Тогда м-р Паккеринг решил, что будет еще лучше, если он сам поедет к академику Ферсману и отвезет ему сорок семь томов своей рукописи, будет лучше, если лично познакомится с академиком, от которого зависит судьба целого края, и втихомолку, про себя, поторжествует и посмеется над своим неудачным коллегой, бесплодно бьющимся над той же проблемой, которую он, Пиккеринг, столь блестяще разрешил в течение каких-нибудь десяти лет.

Глава четвертая о том, как поехал м-р Пиккеринг к академику Ферсману

Опять пошел по магазинам м-р Пиккеринг, опять купил хорошее оружие для защиты от медведей двести двадцать четыре коробка спичек для защиты от вол-

ков, десять кило шоколада для защиты от от голода, меховую шубу для зимы и полосатые трусики для лета.

Три чемодана из крокодиловой кожи были набиты сорока семью томами его сочинения, и с этим багажом отправился м-р Пиккеринг на аэродром, чтобы купить билет до Ленинграда, в Ленинграде пересесть на скорый поезд, и двое суток трястись и киснуть в пыльном загоне.

Но уже на лондонском аэродроме ученым овладело удивление, которое возрастало затем с каждым часом и не покидало уж больше во всем пути.

Около окошечка аэродромной кассы увидел Пиккеринг расписание авиарейсов, и в нем не мог оторваться от четвертой строки.

Северная авиатрасса: Лондон — Коненгаген — Рига — Ленинград — Петрозаводск — Медвежья Гора — Хибиногорск — Мурманск.

На северной линии курсируют комфортабельные советские самолеты К—14 и Ф—2.

Эта строка внушила м-ру Пиккерингу какое-то неясное беспокойство. У него вдруг зачесалась лопатка. Ему вдруг стало холодно, и он поднял воротник, затем взглянул на свои крокодильи чемоданы, набитые рукописями, и нежно-нежно провел по их коже рукой.

К окошечку кассы подошел высокий молодой человек с желтыми волосами, голубыми глазами и тонким лицом северянина.

— Один Хибиногорск, — сказал он кассирше и, получив билет, отошел в сторону.

М-р Пиккеринг тоже подошел к кассе и взял билет до Хибиногорска. Долго и недоверчиво рассматривал он маленький лоскуток голубой бумаги. Долго и недоверчиво рассматривал он четко начертанное слово.

М-р Пиккеринг пошел в кабину, заботливо уложил чемоданы и уселся в мягкое кожаное кресло. Справа было громадное окно. Перед грудью — столик, на нем вазочка с двумя гиацинтами. Против Пиккеринга сидел голубоглазый блондин, взявший билет до Хибиногорска.

М-р Пиккеринг внимательно глядел вниз, на автомобили, спешащие по шоссейным дорогам, на тракторы и машины, копошащиеся на полях, на аккуратные фермы под сетью электропроводов и антенн, на тонкие трубы мастерских и маслобоек — и, глядя на расстилающуюся внизу культурнейшую и цивилизованнейшую часть Европы, он думало самой отсталой и дикой части Европы, о Карелии, с ее непроходимыми болотами и лесами, по которым ползут «волокуши», с ее звериными тропами и нищенскими погостами.

Специальное приспособление заглушало шум мотора. В кабине стояло негромкое монотонное жужжание. Убаюканный этим жужжанием и легкой качкой, м-р Пиккеринг погрузился в сон. Его сон был очень глубоким. Он погрузился в него, словно в угольную шахту.

Опустив голову на грудь, он по-стариковски раскачивался из стороны в сторону, тем самым еще более убаюкивая себя. Спал он очень долго. А открыв глаза и оглянувшись кругом, он никак не мог сообразить, действительно ли он проснулся, или же глубокий сон сменился явственным сновидением.

Против него все так же сидел голубоглазый северянин, углубившийся в чтение московской газеты. На столике все также клонились вниз два гиацинта. М-р Пиккеринг взглянул на землю: там расстилался все тот же пейзаж, какой он видел и перед тем, как заснул.

Зеленые и желтые квадратики полей, расчерченные нитками дорог. На полях копошатся машины. По дорогам бегут автомобили. Каналы и канавы идут вдоль дорог. На небольшом расстоянии друг от друга разбросаны селения, так же окутанные электропроводами, протягивающие к облакам тонкие иглы радиомачт.

На невысоком пригорке увидел м-р Пиккеринг группу каменных построек с высокими тонкими трубами. На дворе стояли машины. Иногда среди них загоралось солнце электросварки. Один за другим выезжали тракторы из раскрытых дверей большого, плоского здания.

«Все еще Европа, — подумал м-р Пиккеринг. — Интересно, где мы сейчас пролетаем?»

— Скажите, — спросил он у голубоглазого соседа, — это уже Латвия или все еще Голландия?

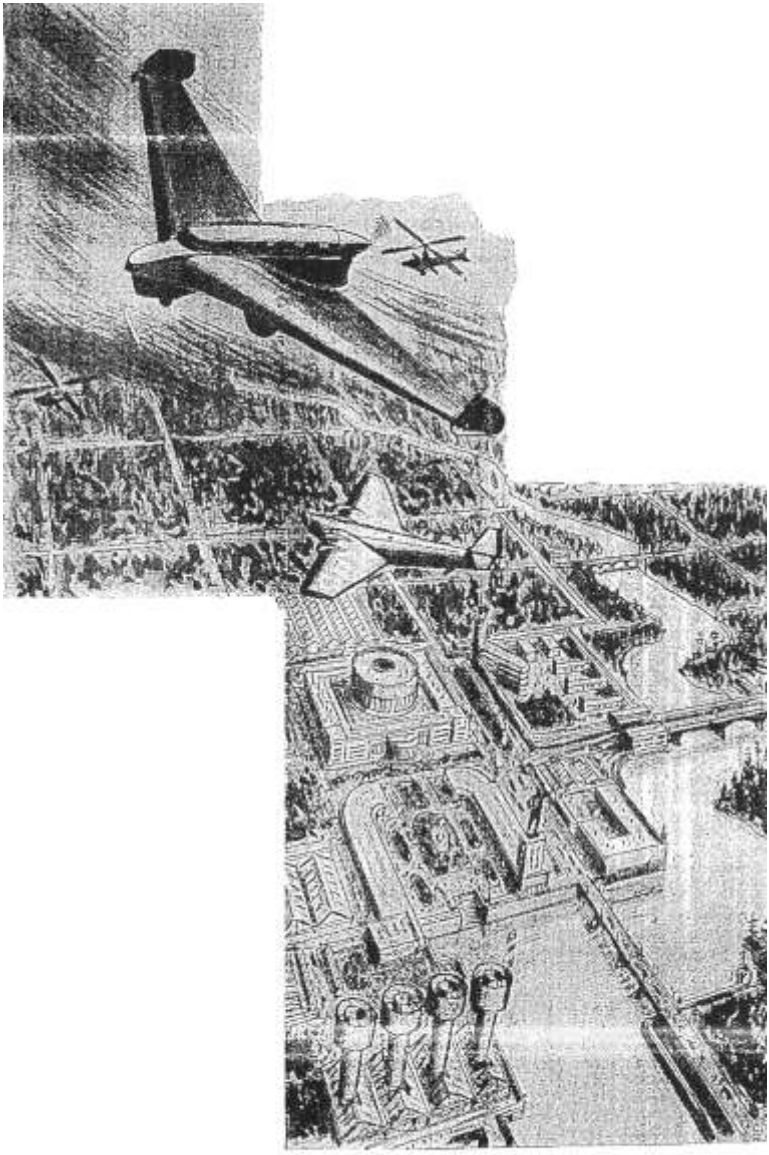
Сосед взглянул на него широко раскрытыми глазами и усмехнулся:

— И здорово же вы спали, — удивился он, — и Голландия, и Латвия давно остались позади. Сейчас мы пролетаем над самым южным районом Карелии — над Олонецкой равниной.

М-р Пиккеринг подпрыгнул в своем кресле, ударился головой о белый потолок кабины, с размаху опять шлепнулся на тугие пружины кресла и опять подпрыгнул к потолку...

Голубоглазый сосед глядел на него с усмешкой и удивлением. М-р Пиккеринг, чувствуя, что сейчас его схватит удар, потянулся дрожащей рукой к вазочке, вы дернул цветы и жадно выпил пахнущую плесенью воду.

— Вы не шутите, молодой человек, не смеетесь ли вы над стариком?



Большой и красивый город простирался внизу...

— Какие тут могут быть шутки?

— Да, но где же, скажите, волокуши, где же болота, где же гнетущая олонецкая глушь?

Сосед ответил на вопрос вопросом:

— Вы читаете газеты когда-нибудь?

— Читал, читал, молодой человек, ровно одиннадцать лет тому назад я аккуратно читал газеты, но...

— Одиннадцать лет? Гм, многовато. Если бы вы читали более свежие газеты, то знали бы, что пять лет тому назад советское правительство приступило к реконструкции олонецкой равнины: осушило болота, электрифицировало, провело дороги, привило пшеничные культуры, одним словом, превратило олонецкую равнину в северную Украину...

М-р Пиккеринг сидел в позе паралитика, сомнамбулическим взором глядел вниз и слушал увлекательный, но страшный Пиккерингу рассказ голубоглазого соседа.

Самолет приближался к Петрозаводску.

Большой и красивый город, утопающий в зелени садов и парков, расстилался внизу. По краям проспектов и улиц высились изящные деревянные, колоссальные гранитные и легкие фибролитовые здания. В центре города — гранитная фигура Ленина устремила свой пламенный жест к густому парку, окружающему Онежский судостроительный завод.

Железобетоно-стеклянные корпуса простираются до самого озера, озаряемые рассыпанными звездами негаснущих прожекторов и голубыми солнцами электросварки.

В резьбе и кружевах металлических конструкций, у берега покачиваются только что спущенные на воду небольшие речные суда.

По широким улицам города непрерывным потоком струятся вереницы автобусов, грузовиков и легковых автомобилей.

На площадях простираются к облакам, блестя полированным камнем, засасывая взор порфиром, ослепляя белоснежным мрамором — здания правительственных, хозяйственных и культурных учреждений.

Самолет идет на снижение. Он садится на зеркальную гладь озера и подходит к аэровокзалу.

Одновременно с ним опускается самолет, прилетевший из Пудожа. Отрывается от воды мощный ***К—8***, обслуживающий так называемый маршрут социалистических городов: Петрозаводск — Медвежья Гора — Повенец — Надвоицы — Сорока — Кандалакша — Нивастрой — Мурманск.

Самолет летит дальше. Черный ковер лесов разрезан желтыми лентами шоссейных и легких железнодорожных путей.

Блестящие рельсы образуют правильные квадраты, ромбы, круги и эллипсы, они забираются в самые отдаленные лесосеки и приводят маленькие, писклявые паровозики, ведущие длинные составы платформ, нагруженных свежесрубленным лесом, к рекам и ответвлениям Мурманской железной дороги.

Через двадцать минут показывается залитая светом Кондопога.

— Взгляните сюда, — говорит голубоглазый сосед, — Взгляните на это здание, похожее на шотландский замок, — это праматерь всей Кондопоги, первая советская гидроэлектростанция. Несколько западнее, на берегу реки Суны вы можете разглядеть вторую Кондопожскую гидростанцию.

«Вот это длинное многооконное здание, окруженное палисадником — первая карельская бумфабрика.

Сейчас, после того, как на ней установлен второй агрегат, все подшипники заменены шариковыми, после того, как ее работа перестала ограничиваться недостатком целлюлозы и электроэнергии — сейчас она в течение одного года выпускает столько газетной бумаги, что этой бумажной лентой можно дважды опоясать земной шар вдоль экватора. Рядом с бумажной фабрикой — сульфатцеллюлозный завод, ежегодно производящий свыше двадцати тысяч тонн целлюлозы.

Теперь глядите вперед: вот то высокое кирпичное здание с множеством пристроек принадлежит пегматитовому заводу, отдающему фарфорово-фаянсовой и электро-химической промышленности десятки тысяч тонн размолотого пегматита.

«Правее — группа гранитных зданий — принадлежит комбинату переработки минерального сырья. Центральное здание — это завод-лаборатория по плавке диабаза. Еще в прошлом году из Кондопожского плавленного диабаза сделаны тигли для своей химической лаборатории; изоляторы для электропроводки; водопроводные трубы для соцгорода Кондопога. Завод плавленного диабаза окружен талько-хлоритовой фабрикой, слюдяной фабрикой и брусчатными мастерскими.

«Сейчас мы пролетаем над самой Кондопогой. Этот город с вузом, театром, с трамваем появился всего лишь несколько лет тому назад...»

Самолет летит дальше. Он пролетает над Онежскими волнами. Голубоглазый сосед рассказывает м-ру Пиккерингу о домне, плавящей пудожскую руду, о титане и ванадии, добываемом из этой руды, о разработках шунгита — нового, специфически карельского минерального топлива, который горит во всех топках всех карельских и части ленинградских заводов.

Самолет кружит над Повенецкой пристанью и снижается в соцгороде Медвежья Гора.

Молодой социалистический город с пятьюдесятью тысячами населения оглушил шумом и движением. Вереницы автомобилей стояли около аэровокзала, поджидая приехавших пассажиров и привезя отъезжающих.

Воспользовавшись тем, что стоянка самолета в Медвежьей Горе продолжается полчаса, голубоглазый сосед предложил м-ру Пиккерингу съездить пообедать в известный всей Карелии ресторан, в котором все кушанья приготовлены из продуктов, выращенных в Карелии.

Открытый автомобиль марки «Л—3» мчал их по залитым светом улицам. Их перегоняли звенящие трамваи и бесшумные автобусы.

На стенах зданий выпуклые буквы составляли наименование помещающегося здесь учреждения.

Они мчались мимо восьмиэтажного дома «Управления Беломорско-Балтяйского комбината и водных путей», мимо роскошного Дома культуры, мимо кино и театров.

Знаменитый ресторан помещается в комфортабельной гостинице, имеющей сто номеров с ваннами, телефонами, горячей и холодной водой.

В ресторане Пиккерингу и его спутнику подали на первое кандалакшскую сельдь с заонежским гарниром: луком, огурцами, помидорами, укропом, горошком. На столе стояла горка с пшеничным олонецким хлебом. На второе подали уху из семги, на третье — жаркое из пряжинской свинины, на десерт — сочную клубнику, выращенную на грядках Кандалакшского заполярного сельхозкомбината, с густыми сливками от сорокских коров.

Не ожидая расспросов рассеянного старика, его голубоглазый попутчик поспешил рассказать, что они едят пшеничный хлеб благодаря тому, что производящиеся в Кандалакше термофосфаты сделали северные земли доступными для выращивания южных зерновых культур.

Он поспешил рассказать, что они едят сливки от сорокских коров, ибо использование йодных водорослей Белого моря в качестве корма животным сделало молочное животноводство на побережье Белого моря столь же естественным, как и рыбный промысел.

Он рассказал бы еще очень много необычайного, если бы не спохватился, что до отлета осталось только десять минут...

Самолет летит дальше. Он летит вдоль Беломорско-Балтийского канала. По каналу ползли пароходы: большие грузовые, легкие пассажирские, буксиры, тянущие собой вереницу барж.

Около шлюзов канала стояли большие и маленькие заводы: бумажно-целлюлозные комбинаты, лесохимические предприятия, лесопильные заводы и группы изящных коттеджей, окруженных зелеными садами.

Около больших плотин и водосбросов сквозь резьбу лесов, кранов и электропроводов были видны действующие и строящиеся гидро-электростанции.

И с запада, и с востока к каналу стягивались автодорожные, железнодорожные и водные пути. Широкая двухколейка вела на восток, по направлению к Пудожу, и терялась в густых заонежских лесах.

Остался в стороне социалистический город Надвоицы, с мощной электростанцией, с громадным лесопильным комбинатом и алюминиевым заводом. Канал приближается к концу. Вдалеке искрилось и блестело Белое море.

Через несколько минут самолет пролетел над колоссальной красной звездой, упершейся двумя лучами в две стенки последнего шлюза.

Внизу расстилается Белое море. На берегу разбросан большой город, несколько напоминающий Ленинград множеством рек и островов.

С острова к острову перекинуты длинные деревянные мосты.

На горизонте, там, где море сливается с небом, дымят пароходы. Пароходы идут в Сорокский порт. Они идут со всех трех сторон. С юга — выходящие из Беломорско-Балтийского канала. С севера — из Шпицбергена, груженые углем, из Кандалакши — груженые апатитом и алюминиевыми стружками, цементом, удобрениями. С востока — из Архангельска — груженые лесом, рыбой, пушниной, из Печоры — груженые углем.

По длинному каналу, прорытому в морском дне, входят пароходы в Сорокскую бухту, зашищенную длинными молами.

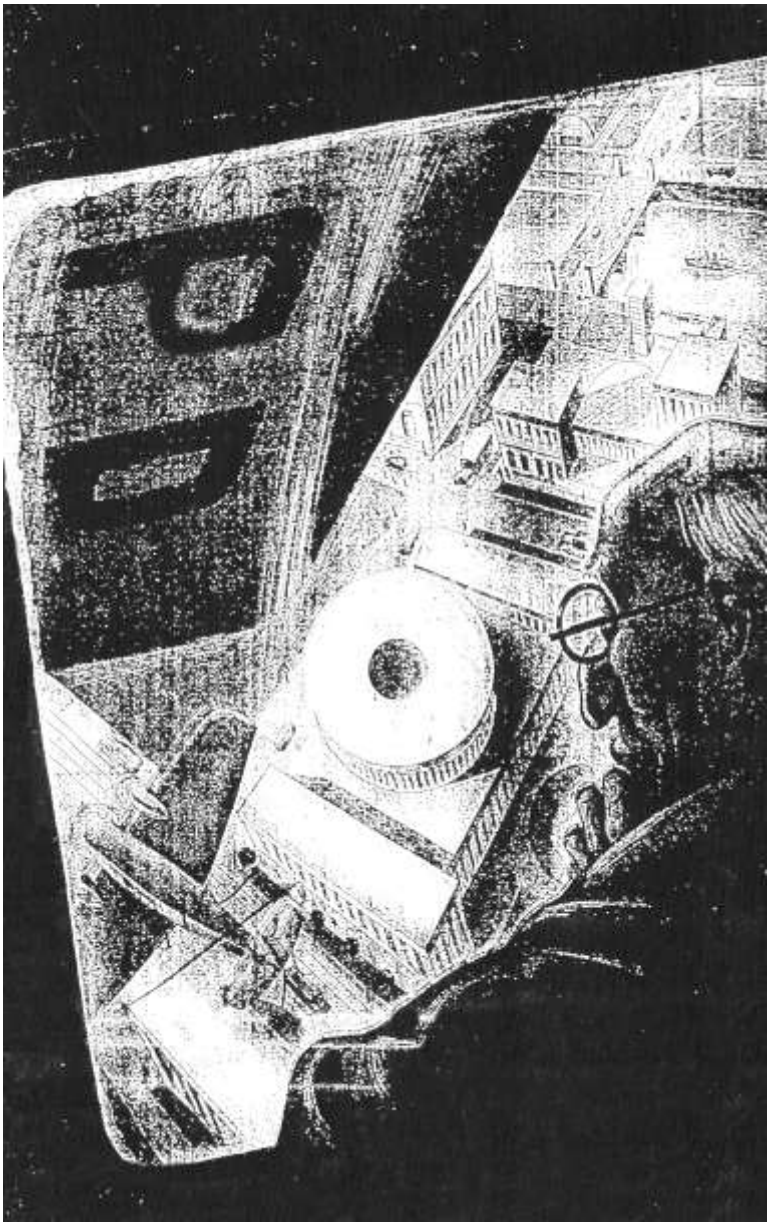
У причалов и колоссального мола, имеющего три с половиной километра в длину и один в ширину, пароходы перегружают свои грузы на баржи, которые и отправляются по каналу.

Весь порт электрифицирован. Бесшумно ворочаются громадные электрокраны и электролебедки, мчатся вереницами электровагонетки.

На север от порта расположен город с гостиницами, клубами, театром.

Самолет летит над морем, окрашенным особенно яркими, присущими только северу красками заката,

Приближается Кандалакша с высокими башнями и скрубберами завода окиси алюминия, с белой россыпью цементного завода, с кирпичными многооконными корпусами термофосфатного завода.



— Сорок тысяч тони окиси алюминия, триста тысяч тонн цемента, двести тысяч тонн удобрений дает мой родной город — с гордостью говорит голубоглазый сосед Пиккеринга.

Минуя химический комбинат, самолет летит над соцгородом с вузами, театрами, трамваем, затем над пенистой, похожей на многокилометровый водопад, рекою Нивой, с двумя мощными электростанциями и социалистическими поселками, над колоссальной плотиной, берущей воду озера Имандра для нивских электростанций.

Самолет летит вдоль железной дороги, по которой мчатся электропоезда «Кандалакша — Мурманск», и поздней ночью спускается в Хибиногорске.

Голубоглазый сосед прощается с м-ром Пиккерингом. Он крепко жмет ему руку и говорит — спокойной ночи.

— Нет, постойте, кто вы такой? — спрашивает у него Пиккеринг.

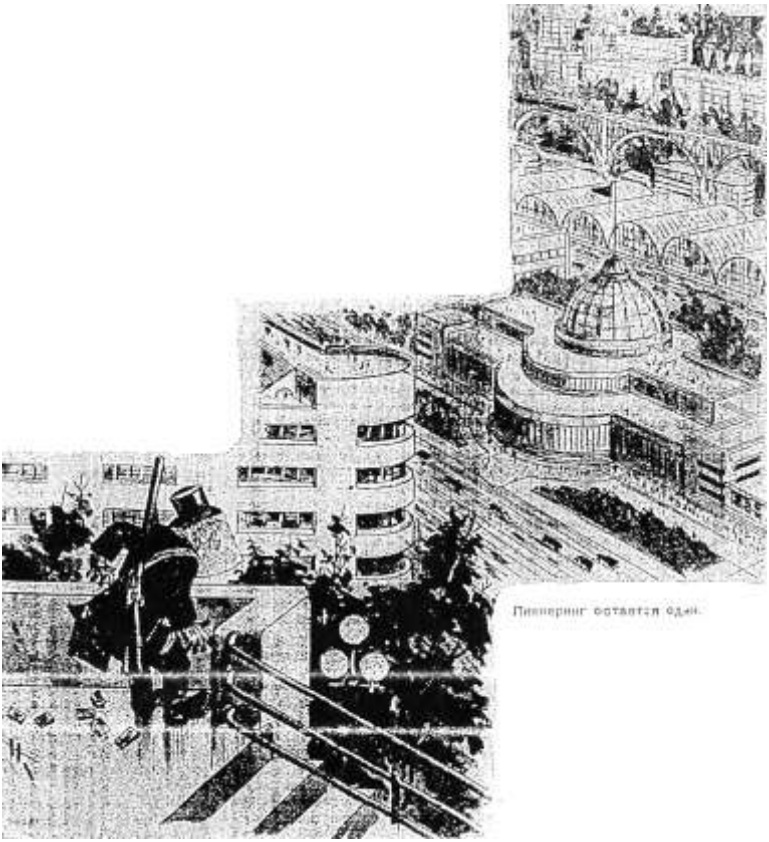
— Я? Я лопарь, Кола Вэга. В детстве я вместе с отцом пас оленьи стада, кочуя по кольским тундрам. Сейчас я инженер-горняк, возвращающийся из заграничной командировки. Что вас интересует еще? Вас, может быть, интересуют пути, по которым шел я вместе с моим краем?

— Велики, молодой человек, и неисповедимы, молодой человек, пути Господни, молодой человек, — проникновенным голосом и по-миссионерски сложив на груди руки, сказал м-р Пиккеринг.

Кола Вэга усмехнулся:

— При чем здесь пути господни? Наши пути — это пути большевистского плана, это пути, указанные великими вождями Лениным и Сталиным. При чем же

здесь господни пути? Наши пути сугубо человеческие, больше того, большевистские пути.



Пиккеринг остается один.

Кола Вэга уезжает домой, и м-р Пиккеринг остается один. Он долго стоит молча, а потом подходит к расписанию авиарейсов. Самолет в Лондон отходит через полчаса.

М-р Пиккеринг покупает билет. Потом разыскивает камеру хранения ручного багажа.

Все три чемодана, наполненные сорока семью томами его сочинения «Прошлое, настоящее и будущее

Карельского края, исследованное и разработанное доктором естественных наук м-ром Пиккерингом», сдает он в камеру и взамен получает три маленькие розовые квитанции.

Отойдя от окошечка камеры и спрятавшись за колонну, м-р Пиккеринг складывает все три квитанции вместе, перегибает их, затем перегибает еще, и, наконец, разрывает на множество мелких клочков.

УТОПИЯ

Фантастический рассказ

Журнал «Вокруг света», № 5, 1935г.

УТОПИЯ

Д. ДАР
Рис. Н. КОЧЕРГИНА

Юный Джон Уипек проснулся. Его веки слиплись от долгого сна, и раскрыть их было трудно; тогда он протянул руку к кнопкам, расположенным на стене, и нажал одну из них, на которой значилась литера «Ф-16». Этим самым он привел в действие автоматический векораскрыватель.

Джон Уипек почувствовал желание зевнуть, но он не стал утруждать себя этим, а нажав кнопку с литерой «А-67» включил автоматический зеватель. Его рот сам по себе раскрылся, легкие всосали струю воздуха, и в течение одного мгновения зевок был окончен.

Только тогда Джон Уипек проснулся окончательно. Нажимом кнопки с литерой «Б-41» он привел в действие автоматический вспоминатель, который подсказал ему, что сегодня 12 мая 2468 года. Джон ощутил потребность что-нибудь почувствовать. Кнопка с литерой «А-81» привела в действие автоматический чувствователь, который подсказал Джону, что он чувствует удовлетворение жизнью.

Джон нажал кпопку автоматического думателя, и автоматический думатель подумал за Джона так: что сейчас Джон хочет? Джон сейчас хочет чашку кофе с песочным пирожным. А не ошибся ли Джон?

Тогда Джон включил автоматический думопроверятель, который подтвердил правильность решения автоматического думателя.

Последовательно нажатые кнопки «Р-168», «К-16» и «М-36» привели в действие механизмы, подавшие

Джону кофе с пирожным, влившие это кофе в горло, прожевавшие пирожное и облегчившие Джону глотательные движения.

После этого Джон нажал кнопку «Г-3б», включившую автоматический пищепереваритель...»

. . . . . .

— К чорту автоматический пищепереваритель, — закричал старик, — к чорту автоматические думатели, автоматические кушатели, автоматические векоподниматели и автоматические жеватели. В том кнопочном мире кнопкой быть приятнее, чем человеком... но приступим к следующей рукописи...

Секретарь стоял перед ним, услужливо выгнув спину. Его круглые роговые очки блестели как автомобильные фары. Он стоял, высокий, худой и изогнутый, как вопросительный знак. Рядом с ним на полу лежала громадная куча рукописей. Одни из них были еще запечатаны в толстых конвертах, другие уже были извлечены из конвертов и раскинули свои большие листы. В этой куче было никак не меньше 2—3 тысяч страниц, покрытых мелкими и четкими буквами. Лежащие сверху рукописи находились на уровне секретарской груди.

— Сейчас мы приступаем к рукописям, полученным в прошлый четверг, — сказал секретарь.

— Давайте, — ответил старик, как-то безнадежно махнув рукой. В его тоне было отчаяние, скука и старческое брюзжание. Он сидел, широко раскорячившись, в глубоком кресле.

Секретарь взял в руки следующую утопию и начал читать монотонно и скучно:

...«На остров Цейлон, — скорее, — закричал Вилли, — три доллара на чай, если будешь в Цейлоне через полторы минуты.

Летчик нажал кнопку и...»

— Опять кнопки... — упавшим голосом сказал старик и еще ниже опустил голову. Его тяжелые веки прикрыли глаза, он дремал. Однотонный голос секретаря доходил до него ритмическим гулом. Гу-гу-гу, — слышал он, и только одно слово заставляло его вздрагивать. Этим словом были «кнопки».

Вы, конечно, узнали этого одутловатого старика. Вы, конечно, узнали в этой брюзжащей и скучающей

развалине того, чье имя гремело во всех частях света в течение двух десятилетий — Генри Оливера Джепса.

У вас уже не осталось сомнения в том, что речь идет о том великом писателе, чьими утопическими романами вы зачитывались с жадностью, на какую способна только юность.

Казалось, что он берет нас за руку и ведет в будущее спокойно и уверенно, как в другую комнату. Пусть это будущее было неправдивым, пусть это будущее было столь далеким, что уже истерлась даже память о наших днях, мы вступали в это будущее как в новый, неведомый мир, и, конечно, перед этим новым миром отступали и сон, и пища, и упреки родных.

А он, этот великий утопист, чье имя знали все юноши мира, написавший 18 романов о будущем; романов, переведенных на все языки и изданных десятками тысяч экземпляров; он, писавший о бессмертии и вечной молодости — превратился в дряхлого старика, с дряблым и жилистым телом, с кожей, покрытой паутиной морщинок, с пальцами, причудливо изогнутыми подагрой.

Окончилась творческая жизнь великого писателя, окончились годы его кипучего творчества, и он оглянулся кругом: что принес он на край своей жизни? Он принес свое больное и немощное тело, принес свое полное одиночество, принес чековую книжку с 600.000 долларами, принес постоянное старческое недовольство всем и всеми.

Все остальное он утратил. Он утратил свое богатейшее воображение, он утратил ясность ума, он утратил способность писать, он был обречен оканчивать свою жизнь в глубоком кресле, и единственно, что ему осталось — это еще раз, последний раз, перечитать все

18 своих утопий, чтобы подвести черту и вывести итог своей жизни.

Он так и сделал. Затворился в своем загородном доме, никого не принимал, и все время отдал чтению своих книг. Он читал их одну за другой, и читал их даже с некоторым интересом, так как содержание первых романов было им уже забыто.

Наступил день, когда он прочел последнюю страницу своего последнего романа. Он захлопнул книгу, и она осталась лежать у него на коленях.

— Вот и все, — сказал он тихо, — и зачем все это? Есть ли среди этих 18 утопий хоть одна такая, которая научила бы людей, как жить, которая манила бы и звала бы, есть ли среди них такая, в которую хотел бы попасть я сам, которую можно вот хоть сейчас взяться и строить?

— Нет, — также тихо ответил он сам себе. — Среди всех 18 моих утопий нет ни одной такой, какую хотел бы я написать. Мои утопии интересны только лишь своей необычайностью, они с интересом читаются, но наутро же их и забывают, а я всегда мечтал создать такую утопию, которая раскрыла бы перед людьми завесу будущего, которая бы научила их, что строить и что создавать, но я не создал такой утопии, и теперь уж не создам.

И тогда старику стало очень грустно. Он стал думать о том, что жизнь прожита напрасно и что старость его безрадостна.

— Я бы с радостью отдал все свое состояние, — сказал он, — если бы смог сейчас создать то, чего не создано до сих пор. Но это уже невозможно, так может быть, могу я хоть найти такого человека, который сделает то, чего не сделал я?

И тогда у него зародилась очень странная мысль. До сих пор она ни разу не посещала его, но посетив, она зажгла в старчески бесцветных его глазах пламя вдохновения. Старик уцепился за эту странную мысль. Она согрела его, она обещала лучше окрасить последние дни его жизни и возместить то, чего он не сделал.

Он позвал секретаря. Секретарь явился, бесшумно ступая по мягкому ковру. Он был скромен и исполнителен, этот высокий секретарь, он ловил мысли своего патрона на лету, он угадывал малейшие желания избалованного старика, но сейчас решимость и нечто неуловимое, отпечатавшиеся на лице старика, привели его в смущение.

— Вот что, дорогой мой, — сказал старик, — я принял сейчас решение, которое вас очень удивит; но не пугайтесь, я в полной памяти и не сошел с ума. Пишите то, что я буду вам диктовать.

Он подождал, пока секретарь вынул блок-нот и перо, и потом начал диктовать четко и внятно: «Во все газеты Америки и Европы. Прошу помещать, начиная с завтрашнего дня и в трех номерах подряд, следующее объявление:

ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ПОЛУЧИТ ТОТ, КТО НАПИШЕТ ЛУЧШИЙ УТОПИЧЕСКИЙ РОМАН ИЛИ РАССКАЗ. УТОПИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВДИВОЙ, ЗАМАНЧИВОЙ И ОСУЩЕСТВИМОЙ. РАЗМЕР, ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАЧЕСТВА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ПРЕМИЯ БУДЕТ ВЫСЛАНА ПО АДРЕСУ АВТОРА ТОТЧАС ПО ОДОБРЕНИИ УТОПИИ МНОЮ...

... дальше поставьте мою подпись и мой адрес,— готово?

Секретарь кончил писать, но он не ушел, он остался стоять неподвижно, как памятник.

— Полмиллиона, — шептал он как бы в забытье, полмиллиона...

— Можете идти, — сурово прервал его размышления старик — объявление должно быть сдано на телеграф немедленно.

Секретарь вышел, пошатываясь, как пьяный. Но он не поехал на телеграф, он послал на телеграф мальчишку, а сам бросился в свою комнату, и в необычайном волнении принялся ходить из угла в угол.

— Полмиллиона, — шептал он, — это же значит обеспечить себя на всю жизнь... Полмиллиона, — шептал он как одержимый навязчивой идеей.

Он вспомнил всю свою жизнь, полную нужды и лишений, он вспомнил, как два маленьких мальчика, он и его младший брат отказывали себе в пище, чтобы получить хоть какое-нибудь образование, и то, что, удалось ему, то не удалось его брату. Его брат остался чернорабочим, и на всю жизнь был обречен таскать на спине кирпичи и доски, а когда наступил кризис, то его любимый братишка, такой нежный и ласковый, потерял и этот заработок. Они оба жили на то, что зарабатывал он один, уже поступивший секретарем к великому писателю. И брат не выдержал зависимости, и ушел бродить по свету, он уехал в Европу и голодал в Англии, потом в Германии, потом в Польше, потом он перестал писать, и, наверное, где-нибудь погиб, погиб в придорожной канаве, как погибает бродяга.

— А я сам, — сдавив руками виски, мучительно думал секретарь, — а что ожидает меня? Всю жизнь на цыпочках. Что-то среднее между лакеем и стеногра-

фисткой. Но если умрет мой патрон, то я потеряю и это место, и мне останется участь миллионов безработных.

На следующий день во всех газетах Америки и Европы появились объявления, подписанные великим утопистом.

Уже вечером его загородный дом был осажден репортерами и авторами-утопистами. Все писатели извлекли из своих архивов когда-либо написанные ими утопии, и сейчас примчались к известному утописту. Авторы окружили дом, как воины. Они ломились в двери, пытались проникнуть в окна, и только отряд полиции водворил некоторый порядок.

Авторы выстроились в очередь, и эта длинная очередь протянулась по улицам, по полям и паркам почти на целый километр. Очередь увеличивалась с каждым часом.

Всю ночь поезда и пароходы, самолеты и автомобили подвозили к дому писателя новых и новых авторов. На следующий день началась подлинная утопическая лихорадка. Полмиллиона долларов ни у кого не выходили из памяти. Полмиллиона долларов сделали писателями и утопистами сотни тысяч людей, ничего до того не писавших, кроме писем. Взялись за утопии художники, киноартисты, мясники, клерки, домохозяйки, профессора, миллионеры, школьники, шофера, приказчики, врачи, парикмахеры... Взялись за утопии 70-летние параличные старцы и младенцы, только что научившиеся владеть карандашом.

Когда два приятеля встречались на улице, то вместо приветствия теперь они обменивались вопросами:

— А, это вы мистер Джексон, скажите, в 4685 году будут носить шляпы или нет?

— Право, не знаю, дорогой мистер Робенсон, а вот, в 60-м веке, курить будут трубки или сигары?

Очередь вытянулась на километр

Все ходили погруженные в обдумывание утопии. 60-летний безработный почтальон Сидней Гартон писал одну утопию за другой, и дописался до того, что ему стало казаться, будто он живет в 40-м веке, и он стал требовать, чтобы ему поручили доставлять корреспонденцию с Венеры на Марс. Одним словом, сошел человек с ума.

Около дома старого утописта творилось совершенно невообразимое. Вся площадь, прилегающая к дому, была похожа на военный лагерь. В ожидании решения старика, в надежде увидеть его самого на прогулке, или, воспользовавшись минутным недосмотром охраны, проникнуть в дом, день и ночь, и в дождь, и в бурю толпились авторы. Они не уходили домой, они сидели на земле. Некоторые из них разбили походные палатки, ночью они зажигали костры, и при свете костров дописывали свои утопии, читали их друг другу и называли старика сумасшедшим за то, что он не считает их утопии достойными премии.

Само собой разумеется, что количество рукописей, приходящих к старику, росло изо дня в день. Рукописи доставлялись ему ежедневно пятитонными грузовиками. Но ни одна рукопись не миновала его рук. В порядке поступления он знакомился с каждым сочинением. Секретарь, чья утопия была забракована в самом начале, брал верхнюю рукопись из громадной пачки, лежащей на полу, и начинал читать ее. Обычно из каждой тысячи рукописей 960 отбрасывались в сторону как негодные, после первых двух-трех строк. Из числа 40 оставшихся 35 отбрасывались после первого абзаца, и только 5 последних отбрасывались после прочтения всей страницы. Представители самых различных политических партий, духовенство, добродушные женщины и отважные юноши — все авторы

рисовали дикие и необычайные картины будущего, картины невероятного технического прогресса, в конечном счете приводящие к диктатуре кнопок, к диктатуре механизма.

— Кнопки, кнопки, кнопки, — в отчаянии шептал старик. — Я не хочу жить в этом кнопочном мире. Я хочу, чтобы мне легко дышалось, чтобы у меня было много дела, и чтобы я любил это дело.

Одна утопия была страшнее другой. Перед дремлющим стариком проходили люди расслабленные от безделья; люди, всю жизнь лежавшие пластом, так как все за них делали машины, — мечты бездельников и лентяев. Перед стариком проходили люди с кровожадностью и свирепостью оранг-утангов, покоряющие жителей других планет, — мечты развращенных войнами юнцов и старцев. Перед стариком проходили пасторали будущего с молочными реками, медовыми облаками и пирожными горами — мечты вечно голодных и недоедавших девушек.

И старику было грустно. Он лежал в кресле, полузакрыв глаза, и тщетно старался вызвать в своем воображении образ подлинного будущего, светлый и радостный образ нашего ближайшего завтра, в котором хотелось бы жить, который был бы правдив, заманчив и осуществим.

Между тем, секретарь приступил уже к новой пачке рукописей.

— Приступим к рукописям, полученным в прошлую субботу, — полуспросил, полусообщил он.

Старик утвердительно кивнул головой. Секретарь разорвал конверт и небрежно отбросил его на соседний стол. Он развернул аккуратно сложенные листы бумаги, и стал читать монотонно и скучно голосом, который, видимо, надоел и ему самому.

«Голос крови никогда не умолкает. — Так начиналась очередная рукопись. — *И сейчас, когда я счастлив, как только может быть счастлив человек; когда я стою на краю возможного и готовлюсь к небывавшему еще прыжку в заоблачные высоты, я испытываю настойчивое желание разыскать тебя и поделиться с тобою своей радостью. Все мы в нашей жизни охотники за счастьем. Все мы бродим по свету в поисках своего счастья. В поисках своего счастья меняем мы города и страны, но обычно находим там лишь те же лишения, которые и оставили. Так и я бродил по свету в поисках своего счастья, а счастье для меня заключалось только в возможности работать, пусть в самой изнурительной, самой тяжелой, самой унизительной работе, но только дающей хлеб.*

Я искал свое счастье. Я обошел пешком всю Америку и Европу, я бродил по Африке и по Азии, я опускался в глубокие долины, где ощущаешь смертельное дыхание лихорадки, я поднимался на заоблачные этажи гор, я пересекал моря и бездонные озера, и нигде не мог найти своего счастья — куска черного, сытного хлеба.

И вот однажды я попал в страну, о которой все мы мечтаем, которая снится нам в снах и мерещится в голодном бреду, я попал в страну, которая отличается от всех наших стран, как залитая светом, искрящаяся от снега макушка Монблана отличается от самой глубокой пропасти на дне Атлантического океана.

Первое время я даже не мог разобраться, то ли реальность стала сном, то ли сон стал реальностью.

Я поселился в той невероятной стране — в этой стране светлого будущего. Я работаю на заводе. Да, да, не удивляйтесь. В этой стране тоже есть заводы. Я поступил на завод, и мне не сказали, как сказали бы у

нас, что вот, мол, делай эти гайки, и за это будешь получать деньги. Нет, мне сказали иначе. Что вот, мол, мы все сообща, вся страна, все многие миллионы людей строим наше замечательное будущее. Каждый завод строит одну какую-нибудь часть этого будущего. Вот этот завод, например, строит первый в истории человечества снаряд, который должен вырваться за пределы познанного нами пространства, который должен взлететь на край стратосферы, и тем самым проложить путь для дальнейших полетов.

— Хочешь? — спросили меня. — Да как же я мог не хотеть? Я стал делать гайки, но думал при этом о величайшем снаряде, о познании вселенной, о строительстве нашего будущего. Меня окружали друзья и товарищи. Весь завод и вся страна была одной тесной и дружной семьей. Общая цель, единая идея связывала всех нас, все миллионы людей общими интересами, страданиями и радостью. Это крепче, чем чувство крови. Это крепче, чем чувство предков, и все мы стали подлинно родственниками.

К нам на завод приходили старики-ученые, приезжали крестьяне, и учительницы приводили маленьких детей. Все они ждали нашего детища, все они с вниманием и тревогой следили за нашей работой, готовы были оказать нам помощь, а если видели где-нибудь неладное, то сурово и требовательно замечали. Я вошел в эту многомиллионную семью и полюбил ее, я был объят общим желанием, и мне хотелось как можно больше дать своей новой семье. Когда работа мне не удавалась, я плакал от горя. Так горячо мне хотелось работать лучше. Тот, кто замечал мои слезы, подхо- дил и всегда помогал мне.

Я полюбил свою работу. Ночью она снилась мне. Я просыпался раньше, чем надо было, и приходил на завод

еще до гудка. Я ходил вокруг своих станков и гладил их металлические тела. Когда приходило время кончать работу, я хотел работать еще, я не хотел уходить, но за мной приходили мои новые братья и сестры, они уводили меня из цеха в прекрасные дворцы и парки, в роскошные театры и клубы, где мы смеялись и отдыхали, плясали и пели песни.

Все люди в этой стране учатся. Здесь учатся дети и юноши, и седобородые старики. Двери университетов и музеев, библиотек и лабораторий открыты для всех. Тот, кто не учится, здесь клеймится позором так же, как и тот, кто не работает. Пошел учиться и я. Передо мною открылись новые, неведомые до сих пор миры. С жадностью и восторгом посещал я вместе со всеми лекции самых ученых и мудрых профессоров. С жадностью и восторгом изучал я месте со всеми самые сложные науки: химию и математику, астрономию и биологию, философию и ботанику.

Завод сменял я аудиторией, и аудиторию сменял я заводом. Чередование физического и умственного труда препятствовало утомлению. Я всегда был бодр и весел, и ненасытен в труде и учении.

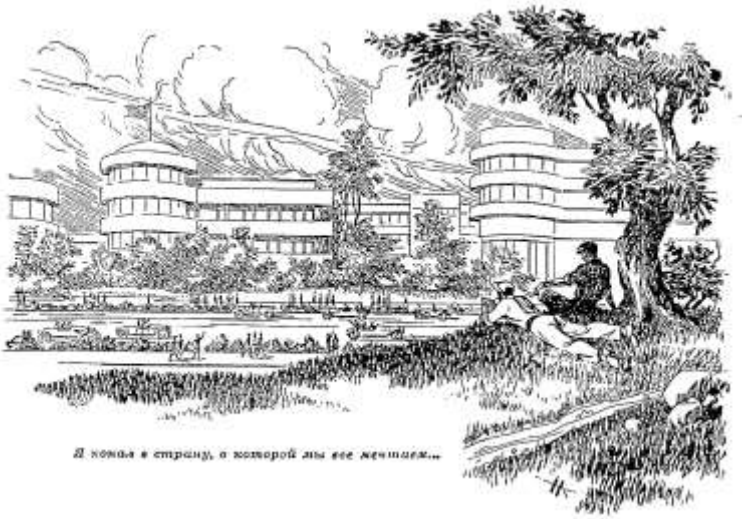
Потом у меня открылись способности к пению. Я сначала над этим смеялся, но мои товарищи сказали: ты не должен над этим смеяться. Мы любим пение, и ты должен научиться хорошо петь. Меня учили лучшие мастера пения. Я перестал смеяться над своим голосом, когда узнал, что большинство моих товарищей, также как и я, учатся какому-нибудь искусству. Одни из них пишут стихи, другие танцуют, третьи рисуют, четвертые играют на музыкальных инструментах. Всех их страна учит, обо всех них страна заботится. И каждый из них может по своему выбору

отдавать время или науке, или физическому труду, или искусству.

Я никогда до сих пор не видел такого количества ученых, такого количества талантливых художников и артистов. Я думал, что эти качества присущи только жителям этой страны.

Нет, сказали они, эти качества присущи всем людям вообще, но только в нашей стране раскрепощены все творческие возможности человека. Вот почему у нас больше всего и лучшие в мире ученые, художники, артисты.

Так я и жил, деля свое время между наукой, искусством и физическим трудом. Я имел возможность предпочесть из этого что-либо одно, но находил гармонию между всеми этими проявлениями своей деятельности, ту гармонию, которая делает человека вечно бодрым, здоровым и радостным.»



Я попал в страну, о которой мы все мечтаем...

— Постойте, — прервал секретаря старик, — постойте, у меня кружится голова... — так вот она, настоящая утопия, так вот она единственная утопия, такая возможная, такая манящая, где люди живут полной жизнью. Так вот она, утопия, в которой ***я*** хотел бы жить.

Но секретарь даже не остановился и не прислушался к словам старика. Глаза его блестели вдохновением, он читал уже не нудно и однотонно, а торопливо, живо, перечитывая одни места по два раза.

...«Я живу в замечательном, недавно построенном доме, — читая секретарь дальше, — моя комната залита светом, радио и телевизорная установка развлекают меня в часы одиночного отдыха; автомобиль, подаренный мне, как и тысячам рабочих и крестьян, ученых и художников, стоит в гараже, и в свой свободный день я сажусь в машину и еду по вновь проложенным дорогам нашей страны, мимо городов и сел.

Мне навстречу в таких же блестящих машинах едут крестьяне, они едут в ближайшие города в театры и музеи, меня обгоняют мчащиеся на машинах и самолетах лучшие артисты и ученые страны, которые едут в села давать концерты и читать лекции.

Я проезжаю мимо городов, в которых кипит такая же напряженная, веселая и темпераментная жизнь, как и в столицах, я проезжаю мимо сел, в которых строятся театры и музеи, я встречаю крестьян знаменитых, как самые лучшие артисты и ученые, и на всех дорогах, во всех городах и селах я слышу звонкие песни молодости, песни свободного труда, песни восторженных творцов, строящих свое счастливое будущее...»

— Стойте, — опять перебивает старик, — стойте, дорогой мой, кто придумал эту замечательную утопию, эту лучшую изо всех утопий?

Секретарь с волнением перелистывает страницы.. Дойдя до последней страницы, он глядит на последние строки, и прочтя их, бледнеет, его лицо становится неузнаваемым, машинально он опускается на стул.

— Это... Это... Это... — шепчет он, и не может выговорить ничего больше.

Старик удивлен. Старик приподнимается в своем кресле и вытягивает шею.

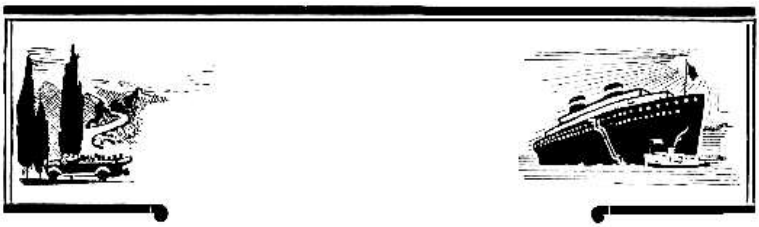
— Что это? — спрашивает он с раздражением, — назовите же мне имя этого замечательного утописта и подайте мне мою чековую книжку, ибо этот человек заслужил обещанные мной полмиллиона.

— Это... Это... Это... — опять шепчет секретарь, и рука его тянется к столу, на который он бросил конверт. Его длинные, как бы выточенные из мрамора пальцы шарят по столу и находят конверт. Он подносит конверт к глазам, читает написанный на нем адрес. Потом опять смотрит в рукопись, и опять глядит на конверт.

— Это...Это... Это... — шепчет он в полной растерянности.

— Да что же это? — не выдерживает старик, пытаясь приподняться в кресле.

— Это не утопия, — наконец, тихо говорит секретарь, — это, оказывается, совсем не утопия, — еще более тихо говорит он, — да это и не вам, это мне, — говорит он совсем шепотом, — вот, видите конверт?.. Он адресован мне, ведь это письмо от моего брата, письмо из Советской России... Он узнал мой адрес, и пишет о своей жизни... Нет, нет, он ничего, наверное, и не знает про ваши утопии, он не писатель, он не утопист, он не придумал этого. Это только письмо...



МОСКВА

Фантастический рассказ

Журнал «Вокруг света», № 11, 1935г.

МОСКВА

Д. ДАР
Рисунки В. КОЖИНА

Луиза умерла 8 ноября 1945 г. Она умерла, как умирают революционеры, сжав в руке древко красного знамени, ни проронив ни стона, ни вздоха.

К нему прибежал сосед, рыжий пекарь, с взлохмаченной бородой и, страшно размахивая руками, закричал:

— Что сидишь ты здесь, старик, и сосешь свою трубку, когда дочь твоя Луиза умирает?

— Луиза умирает? — Нет, этого не может быть. Я не могу потерять последнее свое богатство, последнее и единственное, что люблю я, и что связывает меня с жизнью. Луиза умирает? Умирает моя белокурая девочка? Ты лжешь, рыжий пьяница, она не может умереть, она спокойно сидит у своего конвейера, завинчивая эти проклятые гайки.

Но рыжий пекарь не лгал. Луиза лежала на смятом красном полотнище около опрокинутой и продырявленной бочки. Она была бледной. Голубые глаза закрыты. Белокурые косы расплелись, и по лбу стекала рубиновая струйка крови, она стекала на знамя и сливалась с его кровавым цветом.

Старик упал на землю и обеими руками обнял дочь.

— Луиза, девочка моя, моя нежная дочурка, ведь это неправда, что ты умираешь? Ведь ты не можешь бросить меня одного? Ведь лжет рыжий пекарь? Вот вытру я кровь на твоем лобике, и ты откроешь глаза, птичка моя, канареечка...

Но Луиза молчала, и глаза ее были также закрыты, и все большая бледность разливалась по лицу ее, шее и плечам.

Трубка выпала изо рта старика и осталась лежать на груди дочери.

Тогда Луиза приоткрыла глаза, и мертвенную свою ладонь положила на морщинистую руку отца.

— Это ты, папа? Я знала, что ты придешь, — ее голос был слаб и еле-еле сочился сквозь почти не разомкнутые губы, — я чувствую, что не успею сказать тебе многого, и только одно я хочу просить тебя... — Ее тонкие, будто выточенные из слоновой кости пальцы пытались сжать руку отца. — Есть город Москва. Поезжай туда, там живет товарищ Петр Швабе, его адрес ты найдешь в моем столе, поезжай туда, папа, и расскажи ему, что его Луиза умерла, как революционер, подожди, дай передохнуть... он должен знать, что я умерла за Москву, чтобы Москва покрыла собою весь земной шар и стала бы столицей мира... Вот, кажется, и конец, мне уже нечем дышать и кровь подступает... ты скажи ему, папа, что я умираю счастливая, зная, что тысячи моих товарищей поднимут знамя Москвы и сотрут с лица земли остатки фашизма, ты не забудешь сказать это, папа? Подожди, подожди, кровь застилает мне глаза и клокочет... и еще скажи ему, папа, что я всегда любила его, что всю жизнь...

В это время с необычайным грохотом рухнули ящики и доски, из которых сложена была баррикада, зазвенело разбившееся стекло, и в этом треске, звоне и грохоте потонули последние слова Луизы.

Старик возвращался домой медленно. Он шатался как пьяный посреди опустевшей улицы, крупные слезы текли по его щекам и собирались в ложбинках морщинок, соленые они попадали в рот.

Он остался совсем один — старый, больной, никому не нужный, ничем не связанный с миром и не имеющий ни сил, ни желания жить. Жизнь была для него

пустыней без конца и края — вправо ли пойти, влево ли, везде одинаковый мрак, везде одинаковая пустота, ибо ничто не могло заменить ему Луизы, ее звонкого смеха, ее солнечной улыбки, ее шелковых кос.

Он пришел домой поздней ночью и не зажег света. Зачем освещать кровать, на которой спала Луиза? Зачем освещать зеркальце, в которое смотрелась Луиза? Зачем, вообще, ему нужен свет, который не способен сделать жизнь его ни сколько светлее? Он сел к столу, положив голову на руки. Все старческие немощи с необычайной властностью завладели его телом. Немощи и болезни выступили из мрака углов его маленькой комнаты и сдавили его своими холодными тисками. Только смерть несла избавление от всего: от ужасного этого одиночества, от раздирающих душу воспоминаний, от суровых старческих немощей. И старик решил прожить еще ровно столько, сколько требуется, чтобы выполнить последнюю волю дочери; и как только воля ее будет выполнена, как только этот москвич, Петр Швабе услышит от него предсмертные слова Луизы — покончить со своей жизнью, сиротливой и безрадостной.

В тот же день он продал все свои сбережения, всю нищую обстановку своей комнаты, даже всю одежду свою, кроме той, что была одета на нем, и уехал в Москву.

Только в самом конце пути, пересев из поезда в большой пароход и подъезжая к Москве, измученный горестями и болезнями, он погрузился в тревожный старческий сон.

А когда проснулся, увидел окружность иллюминатора, залитого ослепительно ярким светом. В иллюминаторе громоздилось что-то невероятное, фантасмагорическое, никогда не виданное. На высоком берегу

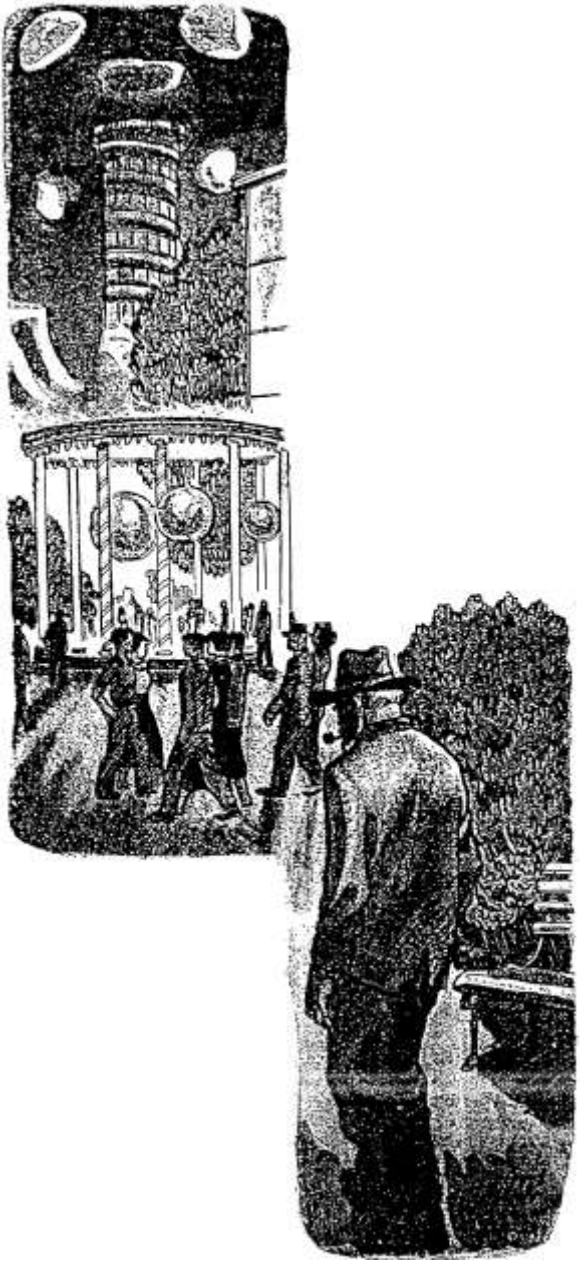
громадные стеклянные стены вонзались в облака ледяной пирамидой. Многочисленные грани их переливались всеми цветами радуги. Они были покрыты разноцветными брызгами, они переливались как самоцвет, они играли с солнцем, то притягивая, то отбрасывая, то причудливо преломляя, то рассыпая веером солнечные лучи. Высокие фонтаны, изваянные в форме человеческих тел, могучих, мускулистых и красивых, старались вознести свои тонкие водяные струи до самой синевы небес. Зеленые аллеи расходились в стороны.

В это время по длинному коридору прошел матрос, стуча в дверь каждой каюты и предупреждая: «Приготовьтесь, подходим к Москве».

Необычайным напряжением сил старик заставил себя подняться и выйти на верхнюю палубу. Все тело его болело, и острые уколы пронзали грудь. Он спустился по сходням и вышел в порт.

Порт встретил его грохотом и звоном железа. Многотрубные и многопалубные пароходы, пришедшие с Черного, Каспийского, Азовского, Балтийского и Белого морей, покачивались у причалов, скрежеща лебедками. Кружево металлических кранов на фоне синего утреннего неба, казалось, образовывало причудливую крышу. Высокие холодильники, склады и элеваторы, раздвигая белыми железобетонными плечами нагромождение металла, уносили ввысь свои стремительные линии.

Выйдя из станции метро, старик оказался на той улице, где жил товарищ Петр Швабе. Улица была широкой и длинной, она уходила вдаль бесконечной перспективой и пропадала на горизонте, сливаясь с зеленью садов и синевой неба.



Дома были высокими, уступами уходящими наверх — улица открывалась кверху и залита была утренним солнцем. Громадные зеркальные стекла длинными лентами обвивали каждый дом, и дома казались прозрачными, они были похожи на аквариумы, где так много солнца, воздуха, света. Пестрые веселые цветы свешивались с каждого окна, и дома были как бы увиты венками.

Старик поднялся на лифте в шестой этаж и позвонил в квартиру, на двери которой была прикреплена табличка с именем Швабе. Ему открыла пожилая женщина.

— Мне нужно видеть Петра Швабе, — сказал старик.

— Петр Швабе только что ушел из дому, — ответила женщина, — но я его мать, и, может быть, я могу вам быть полезна?

— Нет, мне нужен сам Петр Швабе.

— Но я вижу, что вы приехали издалека. Вам надо отдохнуть, помыться, покушать, и еще я вижу на вашем лице следы очень большого горя...

— Нет, — сухо ответил он,— мне нужен только Петр Швабе. Мне не нужно ни отдыха, ни ванны, ни завтрака. — Потом, чтобы не обидеть женщину, он добавил: — Я очень тороплюсь.

Петр Швабе, оказалось, уехал на службу в дом промышленности. Старик взял такси и поехал туда. Когда он опустился на мягкий диван и погрузился в полумрак лимузина, ему захотелось задернуть занавески на окнах, чтобы никуда не смотреть и только сосредоточиться на мыслях о Луизе, ибо он знал, что живет последний час, и раньше, чем такси возвратится в гараж, его уже не будет в живых.

Он думал так, но все же картины, проносящиеся в окнах автомобиля, были столь необычайны и столь

непривычны, что против его воли привлекли внимание. Он видел широкие улицы, светлые и залитые солнцем, такие улицы, по которым весело и свободно ходить, по которым несутся, перегоняя друг друга, бесшумные автомобили. Он видел фонтаны, вонзающиеся в небо на перекрестках и площадях, он видел белые памятники — величественные и колоссальные. И каждый дом, каждое здание было художественно-законченным, как памятник — от него нельзя было оторвать взора, оно, как подлинное произведение искусства, заставляло думать, вызывало восторг и трепет. Здания уносились под самые облака высокими острыми башнями; они террасами ниспадали обратно на улицы, они были окружены величественными колоннадами — и каждое было не похожим на соседнее, и каждое выражало другую мысль и другое чувство, но все они выражали одно настроение — пафос, напряженное дыхание творческого экстаза, величественность человеческих возможностей.

Автомобиль остановился у дома промышленности. Это был колоссальный двадцатипятиэтажный дворец, расположенный на возвышенном берегу Москва-реки. Его необозримые корпуса громоздились один на другой, сверкая искрящимся стеклом, отливая белоснежной белизной мрамора, согреваемого рубиновым порфиром, нежным малахитом, поддерживаемый величественными колоннами.

Петр Швабе сидел за большим столом, на котором стояло несколько телефонов, радиоприемников и телевизоров. Когда вошел старик, Петр Швабе разговаривал с Дальним Востоком.

Старик не сел на предложенный стул.

— Я очень тороплюсь, — сказал он, — я приехал к вам лишь затем, чтобы передать вам слова своей доче-

ри, которая несколько дней тому назад умерла-на баррикаде в борьбе с фашистами.

Петр Швабе опустил глаза, потому что глаза его налились слезами. Старик рассказывал прерывающимся голосом, и потом поднялся:

— Вот и все, — сказал он и опять захлебнулся слезами, — вот и нечего мне больше сказать вам.

Петр Швабе вскочил, и не вытирая влажных глаз своих, подошел к старику. Он взял его морщинистую руку в свою широкую ладонь и крепко сжал ее.

— Пойдемте ко мне, старик. Вы устали, вам нужен покой. Пойдемте ко мне старик, Луиза пролила свою кровь, и вы говорите, что ее горячая кровь слилась с кровавым цветом нашего знамени. Она цвести будет, ее кровь на знамени, она слилась с кровью десятков тысяч борцов, погибших в борьбе с фашизмом, и это знамя, обагренное честной кровью, поведет человечество к такой жизни... к такой... ну... подойдите же, старик, к окну, и взгляните сюда, вы видите?

Но старик ничего не видел. Слезы и горе застилали его глаза.

— Нет, нет, я не пойду к вам, я очень тороплюсь, я сейчас уезжаю. — Он боялся, чтобы Петр Швабе опять не стал уговаривать поехать к нему, и потому торопливо ушел из комнаты.

Он опять спустился вниз и вышел на широкую лестницу, падающую к самой воде.

— Вот и все! Последняя воля Луизы выполнена. Что еще мне осталось делать в жизни? Мне осталось только найти такой тихий темный и безлюдный уголок, где я смогу покончить с собою, не нарушив радости других, никого не оскорбив своим мертвым телом. Вот и все.

Я иду к тебе, моя маленькая Луиза...

Он спустился с широкой лестницы и оказался на набережной.

Полноводная и широкая река стремительно неслась мимо него, царапая волнами гранитные берега.

Старик шел вдоль реки, все дальше и дальше, желая набрести, наконец, на тот тихий и безлюдный район, где он не оскорбит никого своей смертью. Но где было искать это место. Набережная была бесконечной. С одной стороны была прозрачная вода, с другой — громоздились высокие красивые здания с арками, воздушными мостами. Здания стояли в несколько рядов, причем каждый следующий ряд был выше предыдущего — они широкой лестницей поднимались к небу, и над ними высились легкие, как бы висящие в воздухе башни, и перед ними стояли высокие обелиски и стремительные памятники, окруженные купами деревьев, пышными цветниками и затейливыми кустарниками.

Старик шел все дальше и дальше. Он видел группы величественных зданий, окруженных колоннадами, массивных и грандиозных, как постройки Римлян, он видел высочайшие башни, уходящие в самые облака, просторные и обширные площади, украшенные памятниками, громадные фрески на стенах зданий, широкие и просторные проспекты; стрелой мчащиеся в бесконечности на всех проспектах, на всех площадях, на всех улицах потоки автомобилей; сотни тысяч прохожих, которые не суетились, не бежали с озабоченными лицами, а поглощенные какой-то общей, большой идеей, общей мыслью и творческим порывом, столь же величественными, как и их город, спокойно передвигались по широким, свободным и ровным магистралям.

Он ходил по городу много часов и забрел в парк. Парк окружал весь город, и несколькими потоками

вливался к самому центру, он уходил во все стороны, зеленый, густой, рассеченный ровными аллеями, вдоль которых стояли белые бюсты заслуженных людей.

Между тем, приближался вечер, и над городом разливались сумерки. Внезапно высоко в небе взорвался фейерверк. Он рассыпался над городом десятками тысяч искр, и не успели эти искры загаснуть, как одновременно в разных концах парка взорвалась громкая музыка. Сад стал наполняться людьми. Музыка уже гремела кругом. Она покрывала собою все звуки, она властвовала над парком, плавные вальсы сменяли один другой, они кружились и таяли в воздухе, и, казалось, что в такт им шелестят деревья, и клонятся кусты и цветы кивают бутонами. Сотни тысяч человек, в масках, в пестрых затейливых платьях — платьях всех веков и народов, — с длинными шлейфами и пышными буфами, в коротких штанишках, со смешными колпаками кружились в такт музыке, перебрасывались приветствиями, улыбками, кивали друг другу, протягивали руки, знакомились, смеялись.

В это время уже весь парк расцвел десятками тысяч электрических лампочек. Светился каждый куст, каждый цветок, все беседки были одеты в светящиеся одежды, струи фонтанов попеременно окрашивались в нежные голубые, розовые, желтые тона, высоко в небе кружилась бриллиантовая спираль, разноцветный дождь искр осыпался после каждой ракеты, стремительные фейерверки рисовали в темном небе причудливые узоры, И еще одна, особенно сильная ракета вознеслась в небо, и на мгновение осветила весь парк каким-то призрачным, необычайным светом. Она была сигналом. Музыка грянула с удвоенной силой, и все десятки тысяч человек, танцуя, напевая веселые пе-

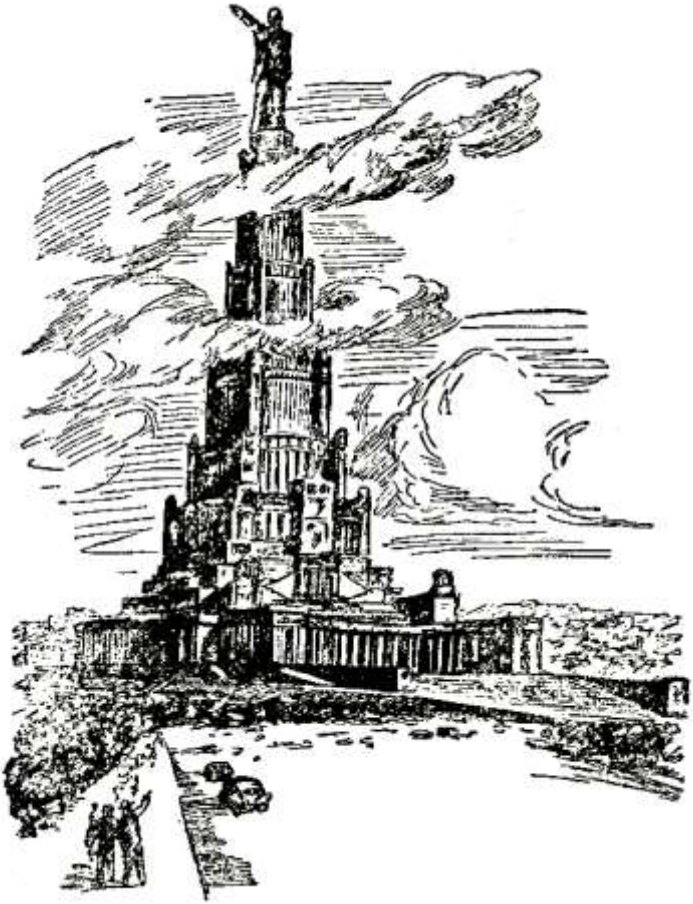
сенки, смеясь и ликуя, направились в одном направлении.

Старик оказался зажатым в толпе. Ему было не выбраться. Его окружало множество людей, совершенно незнакомых. Среди них были и старые, и молодые, и высокие, и низкие, среди них были академики с седыми кудрями, в широкополых шляпах, и задорные 18-летние девушки, и мускулистые физкультурники, и мастистые поэты, и школьники, и трамвайщики, и колхозники, среди них были люди, которые до сих пор ни разу друг с другом не встречались, но сейчас все они были, как братья, и опять нельзя было не почувствовать, как бьются в унисон их сердца, как радость каждого является радостью всех, как доверчивы они друг к другу, как едина для всех причина их радости.

Между тем, толпа влекла его вон из парка. Все шли по проспекту дворца Советов. Длинные лучи прожекторов выхватывали из ночного сумрака то белую колонну, то величественный памятник, то громадную стену, украшенную барельефами. Высоко в небе кружились самолеты, освещенные прожекторами, и по сигналу ракеты они рассыпались на сотни маленьких огоньков — то прыгали отважные парашютисты с подвешенными к поясу фонарями.

Потом внезапный яркий свет ослепил старика. Толпа уже вышла на обширную площадь, посреди которой возвышалась удивительная громада, похожая на легендарную вавилонскую башню. На громадном пьедестале, вознесенном над головами, одна на другой стояли пять высочайших башен. Каждая башня была окружена колоннадой, и над всем этим сооружением, высоко в небе стояла колоссальная фигура Ленина с простертой рукой. То был дворец Советов. Освещенный десятками прожекторов, освещенный еще и из-

нутри, он казался светящимся и возвышающимся не только над площадью, но и над всем городом, но и над всем земным шаром.



И вся толпа на одно мгновение замерла, пораженная этим сказочным зрелищем. Это был колоссальный прекрасный памятник, подобных которому не знал еще мир.

Как зачарованный стоял старик, не имея сил отвести взора от руки Ленина, простертой над площадью, над городом, над всем миром, в это время кто-то дотронулся до его плеча.

Он испугано обернулся. То был товарищ Петр Швабе. Он стоял рядом со стариком и спрашивал у него:

— Что же вы такой печальный, старик? Разве наша радость, что открыли мы сегодня дворец Советов — не может развеять ваших воспоминаний о Луизе? Теперь вы догадались, о чем говорила Луиза, умирая? Она говорила о том, что ценою ее смерти и смерти сотен других ей подобных, вот эта, слитая в единый монолит толпа, способная творить такие чудеса, какие не способен творить ни один титан, будет расти и расти, пока все живущие на земном шаре не сольются в один столь же монолитный коллектив, и тогда весь мир превратится в Москву, и тогда весь мир будет так же радостен и прекрасен, и тогда весь мир будет как Москва. Будет вечный праздник, потому что сознательный — творчески вдохновенный труд является самой большой нашей радостью, а труд наш ежедневно приносит свои результаты. Вчера мы ликовали, пуская первый поезд Ярмольчука, сегодня мы ликуем, открывая дворец Советов, завтра нас ждет ликование — первый ракетоплан вырвется в безвоздушное пространство...

Влекомый толпой старик забирался все выше и выше, вот он на пьедестале Дворца Советов, и может окинуть взглядом всю площадь. Вместе с толпою поднимался он по широким лестницам невиданной красоты, сделанной из невиданных камней, мимо замечательных картин, мимо скульптурных групп потрясающей силы; вот он в колоссальном зале с куполом громадным, как небо над морем; вот взбирается еще вы-

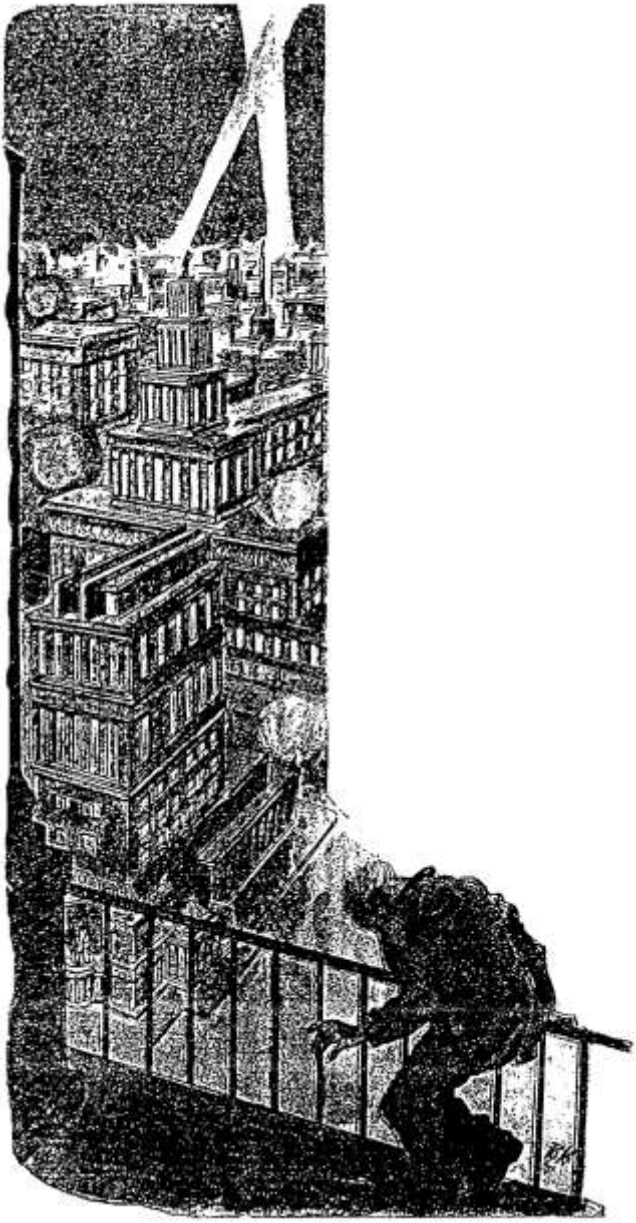
ше, проходит через ряд зал, гостиных, библиотек, музеев и, наконец, выходит па неширокую террасу, обрамляющую Дворец на громадной высоте. Вся Москва расстилается под ним.

Необъятное море света бушует, пенится, переливается и трепещет. Необъятное море света расстилается во все стороны, от горизонта до горизонта, и сливается со звездами.

Огни громоздятся друг на друга, вертятся фейерверками, стремительными потоками мчатся по длинным магистралям, огненными скалами забираются под облака. Оторваться от этого зрелища невозможно. Старик облокотился на парапет террасы, его жилистые, скрюченные руки цепко впились в холодный камень, как бы пытаясь передать ему всю силу своего впечатления.

Так он стоял, как зачарованный, не в силах пошевелиться, не в силах произнести ни слова, покоренный зрелищем. Он стоял в такой позе, не разгибаясь, и час, и два, и пришел в себя только от пронизывающего ночного холода. Уже очень поздно. Праздник кончился. Терраса была совсем пуста. Весь народ ушел, обширная площадь далеко внизу — гладкая и белая, как бумага. Ни одного человека не видно на ней.

— Вот и конец, — подумал старик, — вот и нашел я такое место, где пусто и нет людей, и труп мой будет найден только утром. Перенести ногу через парапет, это так просто, и кончено, и нет больше страданий и нет больше разрывающих сердце воспоминаний о Луизе, — он склонялся к парапету все ниже и ниже, потом как-то странно осел около него, потом из груди его вырвались негромкие стенания. Он плакал, старик, плакал по-стариковски, захлебываясь своими слезами,

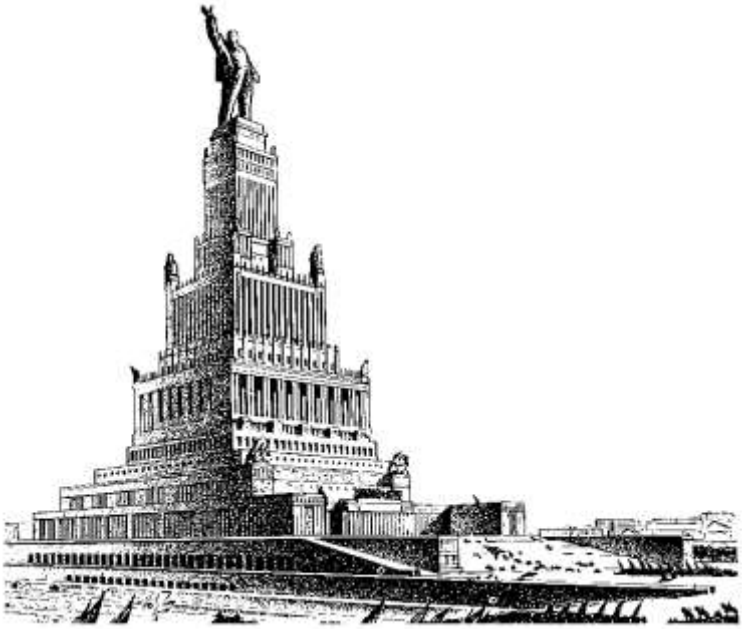


и слезы катились по морщинистым его щекам и стекали на холодный камень.

И тогда он увидел фигуру человека, выходящего на террасу. Человек осмотрелся и, заметив его, поспешно подошел.

— Вот вы где, старик, а я вас ищу... да вы опять плачете.

— Да, я опять плачу, но сейчас я плачу о другом. Я только что собрался умереть, товарищ Петр Швабе. Но я плачу не поэтому, я плачу потому, что я стар и меня одолевают недуги, а я хочу, товарищ Петр, прожить еще много десятков лет, я хочу еще жить, и жить потому, что понял, ради чего умерла моя маленькая Луиза, потому что понял, что такое Москва.



ГОСПОДИН ГОРИЛЛИУС

Фантастическая повесть

Д. Дар
ГОСПОДИН ГОРИЛЛИУС
Л.: Советский писатель, 1941 г.

Д. ДАР

ГОСПОДИН ГОРИЛЛИУС

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Ленинград

1941

ПРЕДИСЛОВИЕ

При занятии нашими войсками местечка Н. на площади был обнаружен труп неизвестного солдата, одетого в форму германо-фашистских стрелковых частей. По словам местных жителей, этот солдат был расстрелян фашистским командованием за «большевизм».

В сумке убитого найдена толстая тетрадь, заполненная убористыми записями на немецком языке. Мой товарищ, лейтенант К., зная мои литературные наклонности, передал мне эту тетрадь.

Заинтересовавшись рукописью, я перевел ее на русский язык и, обработав стилистически, предложил издательству выпустить ее в свет, считая, что в наши дни она не лишена общественного интереса.

Глава первая.
ЭКСПЕДИЦИЯ ДОКТОРА ПИККЕРИНГА

Мои дорогие читатели, я взял на себя тяжелую и неблагодарную задачу рассказать вам эту совершенно невероятную и фантастическую повесть, которая является, однако, сущей правдой от первой и до последней строки.

Не такое сейчас время, чтобы шутить и выдумывать. Как бы мы ни умели выдумывать, а великая выдумщица жизнь столько нагородит невероятного, что, право, не угнаться за нею ни Жюль Верну, ни Герберту Уэллсу, а мне и подавно.

События, описанные в моей повести, начались еще в то благословенное время, когда цивилизованный мир, устав от первой империалистической войны, наконец вспомнил, что помимо убийств существуют и иные увлекательные занятия. И, вспомнив это немаловажное обстоятельство, культурные страны наперебой стали создавать различные ценности, восстанавливая свое довольно потрепанное благополучие.

Чего только не было изобретено за эти благословенные годы! И автоматические подтяжки, расстегивающиеся в самое нужное время, и застежки «молния», и портативные карманные вешалки, позволяющие в любое время и в любой обстановке, вынув из кармана вешалку, повесить на нее все, что только заблагорассудится: начиная от собственной шляпы и кончая собственным бренным телом. Какое удобство! Какой комфорт!

На одной шестой части света была Советская страна. А что такое Советская страна — в наше время знает каждый младенец, и нет мне нужды рассказывать вам о Советской стране.

И еще — в самом центре Европы, в большом столичном городе жили три человека, три друга: наивный и восторженный музыкант Авраам Равинский, тридцатипятилетний юноша, который умел видеть музыку, как другие видят картины. Он создавал в то время изумительную симфонию, симфонию человеческой гордости и величия человеческого духа.

Из широкого окна его комнаты была видна старинная площадь. На ней возвышался музей. Старый хранитель этого старого музея, сморщенный сухонький старичок, с шнурочком вместо галстука, Роберт Ван Барро, был прославленным художником, который умел слушать картины, как другие слушают музыку. Всю жизнь провел он среди безжизненных вещей, боготворя живого человека, создавшего этих замечательных мертвецов.

Часто по вечерам он приходил к Аврааму Равинскому слушать его музыку и говорить с ним о судьбах человечества. И нередко к ним присоединялся мудрый историк Давид Дерви. Свою трудную жизнь отдал он изучению прошлого, чтобы предсказать будущее. Давид Дерви верил в блестящее будущее человечества. Он знал все пути и тропы и извилины троп, по которым шло человечество к своему могуществу, и он знал еще, что через горы трупов, океаны крови, через язвы и мор, но придет человечество к счастью, какого еще не знал мир.

И все бы шло своим чередом, если бы не этот доктор Пиккеринг, который испортил все дело своим путешествием в дебри джунглей Нижней Гвинеи.

О, с каким гневом и с какой страстью нарисовал бы я перед вами его портрет, если бы представилась в этом нужда! Но зачем это делать, когда имя Пиккеринга хорошо известно всему просвещенному человечеству. Кто не помнит его портретов, печатавшихся в журналах и газетах? Кто не помнит его обезьянообразного лица, с маленьким покатым лбом, глубоко сидящими глазами и сильно выдающимися скулами?

Это о его научных работах газеты помещали большие статьи и маленькие заметки под кричащими заголовками:

«Пиккеринг против Дарвина!»

«Талантливое опровержение низменной клеветы на человечество! Доктор Пиккеринг доказал, что человек и обезьяна не состоят в родстве!»

Как вам, наверное, известно, этот популярный ученый посвятил свою жизнь изучению человекообразных обезьян.

Еще будучи студентом Брюнхенского университета, доктор Пиккеринг нередко говорил: «Я буду считать не напрасно прожитой свою жизнь, если смогу доказать неопровержимыми фактами, что я не произошел от обезьяны».

Я не знаю, почему доктор Пиккеринг поставил перед собой именно эту жизненную задачу и следует ли это связывать с его собственной обезьяньей наружностью. Только надо признаться, что, даже прожив большую часть своей жизни, он убедил далеко не всех в том, что произошел не от обезьяны, ибо стоило взглянуть на него, чтобы подумать обратное.

Слава пришла к доктору Пиккерингу довольно рано. Вы прекрасно понимаете, что такая актуальная и волнующая проблема, как «Психоморфология обезьяньих глистов, в отличие от психоморфологии челове-

ческих глистов», не смогла не привлечь внимания всего передового человечества и не стяжать ее автору бессмертной славы.

Несколько толстых научных трудов доктора Пиккеринга были посвящены этой волнующей проблеме. Во всех этих трудах автор так убедительно и так тщательно доказывал превосходство человеческих глистов перед обезьяньими, имея в виду превосходство самого человека перед обезьяной, будто сам не был в этом совершенно уверен.

Теперь доктор Пиккеринг решил приступить к следующему труду, специально посвященному испражнениям обезьяньих глистов.

Пиккеринг рассчитывал, что, доказав принципиальное отличие кала обезьяньих глистов от кала человеческих глистов, он вобьет последний гвоздь в гроб Чарльза Дарвина. И каждый человек сможет сделать неопровержимый вывод, что не человек произошел от обезьяны, а — если иметь в виду самого Пиккеринга и его человекообразных родителей — уж скорее обезьяна произошла от человека.

Но для того чтобы разрешить такую дерзкую научную проблему, необходимо собрать как можно больше фактического материала. И вот доктор Пиккеринг задумал предпринять грандиозную экспедицию в Нижнюю Гвинею за калом обезьяньих глистов. Благородная цель! Высокая задача!

Страна, сыном которой был Пиккеринг, горячо поддержала идею экспедиции. Газеты посвятили предстоящей экспедиции большие статьи и подняли вокруг нее такой шум и трескотню, как будто кал глистов стал предметом первейшей необходимости.

Тридцать ученых обратились к народу с воззванием. Это воззвание начиналось так:

«Люди! Неужели вас не оскорбляет, неужели ваше человеческое достоинство может терпеть, что Дарвин назвал вас отпрысками обезьян? Люди! Мы этого терпеть больше не хотим. Мы не хотим ничем быть обязаны этим мерзким, грубым, нечистоплотным и безнравственным животным».

«Мы обращаемся ко всему человечеству. Жертвуйте на эту экспедицию. Пусть она будет крестовым походом против большевистских учений. Пусть она увенчает бессмертной славой нашу страну!»

И люди жертвовали. И вскоре на текущем счету доктора Пиккеринга собралась довольно кругленькая сумма. Тогда доктор Пиккеринг проникновенно сказал:

— Ну, дорогая Элизабет, час пробил, история призывает меня к свершению бессмертного подвига, ради которого я живу.

Надо сказать для непосвященных, что Элизабет Пиккеринг — это супруга доктора Пиккеринга.

Она принадлежала к типу тех терзающихся натур, которые всю жизнь ищут и не могут найти себя.

Элизабет Пиккеринг была законодательницей мод, вкусов и мнений в своей стране. Она была исключительно разносторонне образована. Изучила политэкономию, философию, рукоделие, домоводство, социологию, генеалогию всех аристократических семейств и десятки других наук.

Помимо того, что она была женой своего знаменитого мужа, она занимала еще почетный пост директрисы Института для благородных фокстерьеров и вице-президента Общества для обеспечения безработных горничных розовыми ленточками на бюстгальтеры.

Несколько лет назад она выпустила небольшую книжку, называвшуюся «В поисках правды». В этой книжке она подробно описывала свои терзания, тщетные поиски душевного равновесия и места для своего «я». Она нашла его в Институте для благородных фокстерьеров.

Однако даже не это составило ее славу. Ее славу составила ее добродетель. О, как была она добродетельна, дорогой читатель! О ее добродетели поэты слагали стихи, а композиторы — элегии и сонаты.

Рассказывают, — не знаю, можно ли верить, — что никто никогда не видел ее обнаженной шеи или обнаженных рук. А между тем она вовсе не была особенной красавицей. Нет, напротив. Мимо нее мужчины проходили довольно равнодушно, а иногда даже и сплевывали в сторону.

В общем — это была счастливейшая супружеская пара.

Доктор Пиккеринг безгранично уважал свою супругу и настолько считался с ее мнениями, что даже не решался высказать какую-нибудь мысль, предварительно не согласовав ее с супругой.

— Итак, во славу рода человеческого и рода пиккерингова! — восклицал доктор, суетясь и готовясь к отъезду.

Конечно, все идейное, оперативное и практическое руководство процессом упаковывания чемоданов лежало на очаровательной Элизабет.

Она сидела в высоком кресле, худая, строгая, не улыбающаяся, и, глядя на окружающих в свой черепаховый лорнет, повелевала:

— Вставные челюсти господина доктора положите в чемодан 32-бис... Картонку номер 08 поставьте на кор-

зинку из серии В за номером 33. Не забудьте уложить яйцерезку, запонки и взбиватель для белков...

— Ты будешь, мой дорогой, — кокетливо улыбнулась она доктору, — обеспечен в экспедиции всем необходимым. Я-то уж ничего не забуду...

Когда упаковка чемоданов была закончена, состоялось трогательное прощание между супругами.

— Мой дорогой, — строго сказала Элизабет, — береги себя и запомни свой девиз, который следует упоминать во всех речах, статьях и интервью: «Человек и созданная им культура — шедевр божественного создания». Запомнил? Повтори.

После того как доктор много раз повторил и выучил наизусть свой девиз, Элизабет Пиккеринг нежно и целомудренно поцеловала его в лоб и проникновенно прошептала:

— А за меня, мой дорогой, ты можешь быть спокоен... Я буду писать стихи, а всю материнскую нежность свою отдам благородным фокстерьерчикам... Я останусь тебе верна, как только может быть верна твоя добродетельная Элизабет.

— О, моя дорогая!

После этого доктор последний раз проверил, хорошо ли упакованы все его щипчики, лопаточки, скребочки, колбочки и пробирочки, и вышел на улицу, где его уже ожидали сотни провожающих.

Проводы экспедиции были трогательными и торжественными.

На пристани состоялся короткий митинг, на котором министр внутренних дел, господин фон Мамен, выступил с длинной одышкой и короткой речью.

— Господа, — сказал фон Мамен, задыхаясь, — совершаются исторические мгновения. Перед лицом всего благородного мира мы отправляем благородного

доктора Пиккеринга в благородную экспедицию за благородным калом, который принесет благородную пользу всему благородному человечеству.

«Благородные господа! Этот кал будет не просто калом. Он станет нашим политическим знаменем, которое мы понесем с собой в доказательство того, что мы благородные люди, а не потомки голоживотых, извините меня, обезьян. Мы призываем его в беспристрастные свидетели, и пусть он нам честно и правдиво ответит, от кого произошли мы: от обезьян, как утверждал большевик Дарвин, или же от своих чистокровных дедушек и бабушек, как утверждает мудрый доктор Пиккеринг...

Итак, за дедушек! За бабушек!»

Мощное «ура» было ему ответом. Оркестр играл туш. Пароход неистово гудел.

А потом было море. Доктор Пиккеринг ходил по палубе, то и дело поднося к глазам подзорную трубу и всматриваясь в горизонт. Путешествие было как путешествие, с качкой, с рвотой, с заходами в экзотические порты, с таможнями, с торговцами... И вот, наконец, после жаркого экватора, после летающих рыбок, на горизонте показались берега Нижней Гвинеи.

В небольшом городке высадилась наша грандиозная экспедиция. Надо сказать, что это событие всколыхнуло весь городок. Добрая половина жителей собралась на пристани. Мальчишки прыгали вокруг выгруженного на берег экспедиционного снаряжения, как вспугнутая стая обезьянок. Полицейские, чьи голые тела были украшены длинными саблями, безуспешно пытались оттеснить толпу мальчишек и любопытных.

Экспедиция была оборудована по последнему слову техники. Она была снабжена танкеткой, вездеходом,

автомобилями, автоматическими ружьями, огнеметами, пишущими машинками, легким самолетом-амфибией, молитвенниками, походным алтарем, противозачаточными средствами и многими другими необходимыми в экспедициях вещами.

На следующий день местные власти и интеллигенция дали банкет в честь доктора Пиккеринга. На этот банкет собрался весь цвет общества. Тут были шериф, представитель какой-то торговой компании, полицейский, политический оратор, два чернокожих вождя и известная шансонеточная певица, высланная сюда в изгнание за чрезмерную вольность своих песенок и туалетов.

Доктор с бокалом в руке произнес речь о величии человеческой культуры, не преминув упомянуть свой отлично вызубренный девиз.

— Господа! — говорил он. — Мы, люди, создали культуру, искусство, науку и политику. Разве же мы не есть шедевр божественного создания? Разве вот вы, господин шериф, или вы, очаровательная артистка, не являетесь шедевром господа-бога?..

Когда он кончил свою речь, все кричали «ура» и продолжали пить шампанское, а певица предложила тут же продемонстрировать совершенство человеческой культуры и пропела свои куплеты на мотив модного кэк-уока. И все были в таком неистовом восторге от совершенства человеческой культуры, что откинули стулья и стали качать прекрасную певицу.

На рассвете следующего дня экспедиция покинула этот чудесный тропический городок, с его пальмовыми аллеями, страстными воплями джазика и чудесным вином.

В сопровождении отряда полуголых туземцев, охранявших танкетку, вездеход и автомобили, экспе-

диция направилась к долине Горячих Вод, где в густых тропических зарослях жило множество человекообразных обезьян — горилл. Гориллы этих мест отличались своими громадными размерами, своей исключительной силой и своим невероятным уродством. Туземцы ужасно боялись этих свирепых, безжалостных, коварных и могучих зверей, которые являются подлинными властителями тропических, лесов.

Иногда эти страшные звери объединялись в стада и нападали на деревушки людей. Их кулачища, зубы и когти были бы достойным вооружением самой агрессивной европейской армии. Через десять-двадцать минут хижины людей бывали разрушены, а все люди лежали на земле с раздробленными костями, с телами, разодранными в клочья.

Итак, на рассвете экспедиция тронулась в путь. Доктор Пиккеринг сидел в танкетке, ощеренной пулеметами. Он был одет в шлем с сеткой от москитов. В одной руке держал заряженный револьвер. В другой — набор щипчиков, скребочков и лопаточек для кала горилльих глистов. А в кармане — Бедекер, Новейший путеводитель по Нижней Гвинее, в кожаном тисненом переплете, ценой в пять марок.

Часа через два после выхода экспедиции из городка кончилось шоссе, и машины стали, как говорится, продираться сквозь густые заросли лиан, по неширокой асфальтированной звериной тропе, ведущей к водопою.

Все время, пока двигалась экспедиция по этой тропе, на высоких пальмах красовались яркие рекламы:

«Нижнегвинейское пиво — лучшее в мире!»

«Легко и безопасно вы можете убить настоящего тигра. По первому требованию высылаем прейскурант расценок на нашу безопасную охоту».

«Здесь живет семья настоящих дикарей. Спешите посмотреть. Дешево и доброкачественно».

На берегу реки находилась прекрасно оборудованная ферма для искусственного разведения крокодилов. Невдалеке дымил завод, изготовляющий изделия из крокодиловой кожи.

Но на другом берегу реки кончился асфальт, и пришлось двигаться уже по настоящей звериной тропе. Все чаще из зарослей доносилось грозное рычание настоящих зверей. На земле видны были настоящие следы животных. Маленькие обезьянки сопровождали экспедицию, прыгая с дерева на дерево и визжа противными пронзительными голосами. Пышные, разноцветные растения стройными стеблями тянулись к тропическому солнцу. Как гибкие змеи оплетали лианы стволы пальм.

К концу вторых суток экспедиция достигла долины Горячих Вод.

Машины остановились, и доктор вылез из танкетки. Он приставил к глазам бинокль и обвел им горизонт. Экспедиция стояла на вершине холма. Впереди расстилалась широкая долина, покрытая густым, непроходимым, тропическим лесом. Все молчало кругом, только иногда откуда-то издалека доносилось грозное рычание зверя.

С чувством своего величия и собственного достоинства доктор опустил бинокль и сказал:

— Друзья, здесь мы разобьем наш лагерь. Сегодня вечером я приглашаю в свою палатку весь командный состав экспедиции. Я раскрою вам свой план облавы на горилл. Завтра на рассвете мы спустимся в долину и начнем свою операцию.

Лагерь был разбит. Он был похож на небольшой, хорошо укрепленный военный форт. В кругу, состав-

ленном из танкетки, автомобилей, вездехода и самолета, находилось несколько палаток новейшего образца, больше похожих на маленькие уютные коттеджи, чем на палатки. Заработала походная электростанция, и в палатках зажглись электрические лампочки. Вокруг палаток были установлены пулеметы и расставлены люди с автоматическими ружьями, ручными гранатами и огнеметами.

Поэтому доктор был совершенно спокоен и чувствовал себя в абсолютной безопасности. Он прошел в свою палатку и сел на мягкий диван, только что собранный из отдельных портативных деталей.

Включив радио, он слушал сообщения о ходе своей экспедиции. Затем присоединил к репродуктору патефон и обедал под звуки веселых фокстротов, которые так содействуют аппетиту и пищеварению. После обеда в его палатке собрались люди.

Доктор разложил перед собой большую карту долины Горячих Вод.

— Господа коллеги и помощники, — сказал он, — завтра на рассвете мы с вами, с помощью господа-бога нашего, выступим в долину Горячих Вод.

Для моих научных целей мне нет нужды убивать горилл, хотя убивать этих нечестивых и непристойных животных дело богоугодное. Мне, напротив, надо захватить живыми как можно большее количество экземпляров горилл. Для этой цели я еще в Европе разработал план оригинальной облавы на обезьян. Эта облава явится новым словом в методологии зоологических экспедиций.

Мы пришли сюда не охотиться, а, как и подобает человеку, этому шедевру божественного создания, этому царю и властелину природы, мы пришли сюда,

чтобы без боя взять, как берут свою собственность, нужное нам количество обезьян.

Как вам известно, горилла является вместилищем всех человеческих пороков. Вы также неплохо знаете, хотя бы по личному опыту, что одним из наиболее распространенных человеческих пороков является склонность к спиртным напиткам.

А раз так, нет ничего проще, как напоить обезьян, забрать их живьем в пьяном состоянии и затем спокойно разводить в их кишечниках глистов для дальнейших научных опытов.

Для осуществления этого плана я привез с собой достаточное количество ликерно-коньячно-водочного экстракта и специальные распрыскиватели для этого экстракта.

На рассвете наш самолет-амфибия поднимется над долиной и начнет опрыскивать ликерно-коньячно-водочным экстрактом все деревья, кусты, плоды и травы. По моим расчетам, к концу вторых суток все обезьяны, находящиеся в зоне нашей операции, будут смертельно пьяны, и мы сможем без одного выстрела получить десятки отличных экземпляров самцов, самок и детенышей горилл для своих благородных задач. Вы видите, как это легко, просто и доступно... Ясно?.. Ни у кого нет вопросов?

Вопросов почти не оказалось, всем все было ясно, и, после того как доктор Пиккеринг отдал четкие распоряжения о том, чем должен заняться каждый участник экспедиции, все разошлись по своим местам.

Летчик опробовал мотор амфибии, механики проверили действие опрыскивателей, танкист осмотрел танкетку, пулеметчики — пулеметы. Затем все участники экспедиции стали проверять коньячно-ликерно-водочный экстракт. Хорошо ли он упакован? Не вы-

дохся ли в пути? Не утратил ли своего опьяняющего действия? Проверяли настолько добросовестно, что приблизительно к полночи у всех стали стеклянными глаза и отвисли челюсти. Летчик заснул под своим самолетом. Пулеметчики положили головы на свои пулеметы. Ученые улеглись на своих колбах и ретортах, и только один доктор Пиккеринг, этот страстный фанатик науки, этот подвижник пытливой мысли, лежал на-своем ложе с широко открытыми глазами. Он лежал и размышлял, а за стенами палатки *мяукали* тигры, ревели львы, кричали обезьяны... Но доктору Пиккерингу не было страшно.

— Мяукайте, вы, тигряшки, — шептал он, — рычите, вы, львяшки, беситесь от ярости, гориллишки. Что вы можете сделать со мной, с человеком? Одна моя танкетка сильнее стада слонов. Один мой револьвер яростнее целого семейства горилл... И собственно вся моя сила даже не в танке и не в револьвере. Она — в моей мысли, в моей человеческой культуре...

В это время за стенами палатки послышался топот. Пиккеринг приподнялся на локте и стал вслушиваться. Кто-то тяжелый топотал по земле, что-то затрещало и повалилось.

Доктор вскочил на ноги и крикнул своего слугу. И дверь сразу открылась. В нее просунулась морда... Доктор побледнел.

— О боже! Я сошел с ума!..

Вслед за мордой просунулась могучая волосатая грудь, затем коричнево-рыжеватые лапы... Затем вся палатка зашевелилась, как будто над ней пронесся ураган.

— О господи, боже мой! Элизабет, родная моя...

Доктор хотел крикнуть, но голоса не было, и за стенками палатки, несмотря на страшный треск, то-

пот, грохот, не слышалось ни одного человеческого крика, возгласа, восклицания, только заведенный кем-то патефон пел слова модного «обезьяньего фокстрота»:

Мы все мордастые, мы все шерстастые,
И с нами всем так хо-ро-шо...

А громадное страшное чудовище стояло у входа на задних лапах, с перекошенной от ярости мордой, с шерстью, вставшей дыбом, с отвисшей нижней губой, по которой стекала желтая пена. И могучими кулаками чудовище неистово колотило себя в широкую грудь...

— О господи, да ведь это горилла!..

Доктор упал лицом вниз, теряя сознание, а патефон пел:

Мы обезьяночки, мы павианочки
И все самцы в нас страстно влюблены...

...Так печально окончилась экспедиция доктора Пиккеринга в Нижнюю Гвинею. Несколько дней ни радио, ни газеты ничего не сообщали об экспедиции. Потом разнеслась страшная и сенсационная новость. Радиограмма сообщила следующие сведения об участи, постигшей экспедицию доктора Пиккеринга:

«Как известно, несколько дней назад в Нижнюю Гвинею прибыла экспедиция известного ученого доктора Пиккеринга. Прекрасно вооруженная и оснащенная, экспедиция отправилась к центру области, в долину Горячих Вод. По последним сообщениям, переданным радиостанцией экспедиции, Пиккеринг достиг края долины, где и разбил свой лагерь. В течение двух

дней от экспедиции не было никаких известий. Вчера перед рассветом в ближайший населенный пункт прибежал один из туземцев, входивший в состав экспедиции. Туземец рассказал, что, после того как был разбит лагерь, все начали пробовать какую-то зеленоватую жидкость. Он также стал ее пробовать, после чего заснул, и ему приснился очень страшный сон, будто в лагерь пришли Нзики (так местные жители называют горилл) и перебили всех людей. Сон этот был таким страшным, что видевший его туземец, пребывая, по его словам, все еще во сне, стал ползком пробираться по земле и никем не замеченный бежал из лагеря. Он бежал всю ночь. А наутро пришел в себя. Но вернуться в лагерь не решился.

Посланный на место, указанное туземцем, отряд солдат обнаружил разрушенный лагерь, сломанные танки и автомобили. Были также обнаружены трупы всех участников экспедиции, кроме самого доктора Пиккеринга. Трупы сильно изуродованы. Как видно, экспедиция действительно подверглась нападению стада горилл или других животных».

На этом кончается история экспедиции доктора Пиккеринга в Нижнюю Гвинею и начинается другая история, которая, собственно говоря, и является предметом моего описания.

Глава вторая.
КОГДА ЧЕЛОВЕК ОСТАЕТСЯ ГОЛЫМ

В то время, когда весь цивилизованный мир читал сенсационную радиограмму, доктор Пиккеринг на короткое время открыл глаза. К нему вернулось сознание. Он огляделся, но ничего не понял. Первым его ощущением была боль во всем теле. Все тело ломило, как будто после свирепой драки. Вторая мысль его была об очках. Одно стекло было сломано, но второе оставалось целым. Значит, он может видеть, что происходит вокруг. Но вокруг происходило что-то совершенно непонятное. Мир убегал назад. Все окружающее мелькало. Вверх. Вниз.

Перед его лицом возникали то густая листва, то тонкий ствол дерева, то громадный сук, то земля с черными корнями деревьев, с высокой травой и страшными корягами. Иногда появлялось синее небо, потом трясина, потом громадный лист застилал его взор... Ему казалось, будто он летит по воздуху. И это чувство полета, высоты, какой-то неведомой опасности, от которой замирает сердце, напомнило ему детский сон, и он собрался уж окликнуть Элизабет, которая наверное лежит с ним рядом, но в это время услышал треск сучьев и какое-то тяжелое, прерывистое сопение. И тогда он вспомнил страшное видение в дверях своей палатки. И тотчас же увидел рыже-коричневую шерсть громадной лапы, обхватившей его поперек груди... И ему стало так страшно, что он вновь потерял сознание.

Я затрудняюсь вам сказать, сколько прошло времени, прежде чем он вновь пришел в себя. День, видимо, клонился уже к вечеру. Громадное, несколько туманное солнце садилось за вершины деревьев.

Доктор Пиккеринг открыл глаза и сразу же почувствовал, что теперь сознание вернулось к нему надолго. А впрочем — надолго ли? И он стал ждать мучительной, страшной, но неотвратимой смерти.

Он лежал высоко над землей, на разветвлении двух больших толстых ветвей. Над ним был устроен навес из сучьев и хвороста. Зеленые влажные листья склонились над ним, и какие-то неведомые экзотические плоды, несколько напоминающие бананы, почти касались его лица.

Доктор повернулся на бок и застонал от боли. Под деревом он увидел небольшую полянку, со всех сторон окруженную лесом. Посреди полянки лежала груда знакомых вещей. В общей куче были свалены автомобильные фары, сломанная пишущая машинка, несколько толстых книг, в которых он узнал свои труды, сломанные ружья, шляпа одного из его помощников, курительная трубка, поваренная ложка и много других вещей, таких знакомых каждому человеку.

Вскоре послышался треск сучьев, и с высокого дерева спрыгнуло на полянку чудовище. Доктор сразу узнал отличный экземпляр гориллы. Горилла была большого роста, коренастая, с длиннейшими руками, с коричнево-рыжей шерстью, которой заросли морда, спина, грудь и все туловище. В руке гориллы был ночной горшок доктора, который полетел в общую кучу.

Вслед за первым гостем, почти сразу же, выпрыгнул на полянку другой. Это, видимо, была самка. Она несла киноаппарат и несколько сломанных патефонных пластинок.

Одна за другой спрыгивали с деревьев гориллы, складывая в общую кучу захваченные трофеи. Человеческие вещи вызывали у животных исключительное любопытство. Самцы, самки и детеныши брали их в руки, рассматривали, пробовали раскусить, сломать, раздавить в кулаках, что обычно им без труда удавалось.

Вскоре издалека донесся пронзительный, какой-то лающий рев. Рев быстро приближался. Обезьяны присмирели. Они бросили на землю вещи, которые были в их руках, и застыли в неподвижных и испуганных позах, устремив взгляд своих злобных черных глазок в ту сторону, откуда доносились эти страшные звуки.

С треском и ревом, сквозь плотную стену растений, скрепленных лианами, вырвался и встал посреди поляны запоздавший горилла. На нем была густая шерсть коричневого цвета с каким-то рыжеватым оттенком. Он был невысок, но столь широкоплеч и коренаст, что казался почти квадратным. Громадная грива покрывала его череп и спускалась на плечи, на спину и грудь. Морда его была яростной. Одну ногу, видимо сломанную в боях, он несколько волочил, и эта хромота почему-то придавала ему особенно свирепый и кровожадный вид.

Он выскочил на середину поляны и остановился на четвереньках, высоко подняв свой лохматый зад, злобно и грозно оглядывая притихших обезьян. Затем медленно поднялся на ноги и стал неистово колотить себя могучими кулаками в широкую грудь, испуская при этом грозный и яростный рев.

Обезьяны опустились на землю, как бы упав ниц, и застыли в страхе, боясь пошевельнуться. Тогда хромой подскочил к старому клыкастому самцу, лежавшему перед ним ниц, и отпустил ему такой увесистый под-

затыльник, что если бы его получил не горилла, а человек, то к нему не нужно было бы даже звать врача, так как врачу уже нечего было бы делать. Но старый самец мужественно выдержал удар, ниже пригнувшись к земле и что-то зарычав в свое оправдание.

Я уже говорил, что доктор Пиккеринг настолько тщательно изучил горилл, что мог кое-как разбираться в значении их жестов и издаваемых ими звуков. Поэтому он понял, что речь сейчас идет о нем самом. Хромой, который, видимо, был вожаком всего стада, выражал гнев от того, что не видит своей главнейшей добычи — обезьяноподобного, как он называл эту добычу.

Старый самец быстро поднялся на ноги и несколькими прыжками, провожаемый свирепым и грозным взглядом Хромого, добрался до дерева, на котором лежал доктор. Доктор закрыл глаза, чтобы не видеть того, что случится. Его обдало горячее дыхание зверя, и две могучие лапы сжали его так, что кости хрустнули. Когда он опять открыл глаза, то увидел склонившуюся над собой яростную и уродливую морду Хромого.

Гнев обезьяньего вожака, видимо, прошел. Поднявшаяся было дыбом шерсть опять улеглась на его теле. Он обнюхивал и оглядывал доктора, затем небрежно схватил его за полу пиджака и легко, как щепочку, перевернул на другой бок. Доктор молчал, затаив дыхание и стараясь не смотреть в алые, звериные, глубоко запавшие глазки Хромого.

Все обезьяны, увидев, что вожак успокоился, пришли в неистовую радость, сорвались с места и опять бросились к куче трофеев. Несколько самок, подскочив к Хромому, окружили его и, злобно рыча друг на друга, стали, ласкаясь, перебирать его коричневую шерсть, выискивая в ней насекомых.

С необычайной яростью, пронзительными криками, резкими движениями и уродливыми гримасами терзали обезьяны свою добычу. Во все стороны разлетались куски металла, дерева, кожи, материи. Нередко из-за какой-нибудь вещи возникала такая яростная и свирепая драка, что клочья шерсти летели в стороны, пока Хромой грозным рычанием или ударом не прекращал поединка.

Одна из горилл разошлась настолько, что, когда уже у нее под руками не осталось больше вещей, которые можно было сломать, она подпрыгнула к доктору Пиккерингу и схватила его за ногу, чтобы разломать ее так же, как только что разломала штатив киноаппарата. Но грозный окрик и великолепная затрещина вожака отогнали смельчака.

— Это добыча моя, — прорычал Хромой, — и никто из вас, жалкие макаки, чтоб не смел до нее дотронуться... Эй вы, бросьте возиться как детеныши. Когда говорю я, Хромой, падите ниц и слушайте...

И сразу все самцы, самки и детеныши действительно прекратили возню и вновь пали ниц, слушая рев своего вожака.

— Вот лежит моя добыча, обезьяноподобный, — ревел Хромой. — Кто из вас дотронется до моей добычи, человекоподобные гадины, тот может прощаться со своей самкой и детенышами, потому что я переломаю ему конечности, раздроблю череп и разорву живот... Слышали вы? То-то... А теперь слушайте дальше, что проревет вам ваш вожак.

Наша победа над лагерем жалких человечков еще раз подтвердила, что нет в мире существа сильнее и могущественнее гориллы. Что, не верно я говорю? Почему же человечки присвоили себе право считаться владыками природы, самыми сильными существами?

Посмотрите на этого обезьяноподобного... Я оставил его в живых только потому, что он похож на нас и хоть поэтому не так жалок, как другие его бесшерстные и слабосильные сородичи, Ну, и я хочу, чтобы вы посмотрели: кто из нас могущественнее — я или он?..

Могучий рев был ему ответом.

— Я могу вышибить из него жизнь, — продолжал Хромой, — одним взмахом мизинца, но я не стану этого делать сам, а поручу это ничтожное дело новорожденным нашим детенышам...

— О горилла! — взмолился доктор. — Разве тебе не жалко своего беспомощного и поверженного в прах противника?

— Что ты там лепечешь о жалости? Что это такое — жалость?

— Победители бывают милостивы к побежденным...

— Что ты там лепечешь о милости? Эта штука мне тоже совсем незнакома.

Тогда доктор понял, что ждать пощады ему не приходится, а раз так, то ему нет нужды умирать несчастным и жалким, а он может умереть, как герой, отстаивая правду, как умерли Джордано Бруно, Галилей, Коперник, как умирали лучшие подвижники истины... И, почувствовав себя героем, он вынул из кармана револьвер и, нацелившись в Хромого, прорычал известными ему горилльими звуками:

— Так вот тебе, обезьяна! Человек все-таки сильнее...

Но не успел он спустить курок, как Хромой, собравшийся прорычать следующую тираду, чуть-чуть переставил ногу, при этом слегка задев доктора... И это случайное прикосновение, даже не замеченное гориллой, оказалось таким толчком для человека, что револьвер выпал из его руки...

— Что ты опять лепечешь, жалкая вонючка? — заинтересовался Хромой. — Ты, может быть, не согласен со мною?

Так в чем же твое величие? — И он схватил человека и подбросил его в воздух, как легкий камешек.

— Вот в этом, — чуть слышно произнес доктор, упав на землю и головой кивая на груду вещей, а руками потирая ушибы.

— В этом? А зачем нужны все эти игрушки, без которых мы отлично обходимся и не жалуемся на жизнь?

— Вот в этом, — указал доктор на ручную гранату, валявшуюся невдалеке от него. Внезапно ему пришла в голову мысль перехитрить глупых зверей. — Дайте мне эту штуку, уважаемый господин обезьяна, и я покажу вам ее действие.

Хромой поднял ручную гранату с земли и хотел подать ее доктору, но, поднимая, он так сжал ее в своем кулачище, что донышко металлического цилиндра отвалилось и все содержимое просыпалось на землю, и он подал доктору лишь пустую и сломанную жестянку.

— Вы сломали ее, — жалобно, извиняющимся тоном сказал Пиккеринг, — а то она могла бы разорвать вас всех.

— Ах, простите, — издевался над ним Хромой, — если бы я не сломал ее, она разорвала бы меня, возможно. Но я даже не заметил, как сломал это грозное оружие. Так чем же все-таки ты сильнее нас, жалкий хвастунишка, лягушка, воображающая себя гориллой, чем же?

— Ну, наконец, этим, — прошептал доктор Пиккеринг, указывая на книги. — Мы единственные из живых существ создали культуру, мы имеем историю, поэзию, живопись, мы имеем Шекспира, Гете, Данте,

Леонардо да Винчи... — говорил доктор с воодушевлением, но внезапно осекся, увидев, что страницы из его книг жадно запихиваются в рот горилльими детенышами, которые разжевывают их и затем выплевывают друг в друга. С большим оживлением юные гориллы переплевывались разжеванными бумажными мякишами.

А Хромой издевался:

— Наши детеныши умнее вас. Они хоть получают развлечение от ваших книг и вашей культуры. А вы? Может быть, ваша культура заменит вам пищу или жен или силу ваших рук?.. Подумаешь: создали историю! И у нас есть история. Вот недавно мы напали на стадо слонов. А несколько раньше разрушили деревню дикарей, а еще раньше — я убил двух охотников. А в прошлом году — раздробил череп своему предшественнику, прежнему вожаку этого стада Длиннозубому. Ну, чем не история? А литература? У нас есть и литература и музыка. Правда, всего одна песня, но она стоит всех ваших сочинений, потому что выражает решительно все наши мысли, чувства, мечты и переживания. А ну-ка, обезьянушки, заведем наш рев...

По приказу вожака все самцы вскочили на ноги и начали, грузно пританцовывая, неистово бить себя кулаками в грудь, разжигая свою ярость. При этом все разом зарычали, и рев этот звучал так ужасно, так громко и яростно, что дрожь прошла по телу Пиккеринга. Доктор попытался вникнуть в содержание рева, и смог кое-как перевести его на человеческий язык.

Нам ничего не нужно,
Кроме крови тех, кого мы не любим,
А не любим мы никого и ничего,
Кроме вкусных плодов

И наших самок.

— Ну, как? — горделиво обернулся Хромой к доктору.

— Не плохое у нас искусство? Так в чем же люди нас превзошли?

Доктор уже не знал, чем еще доказать преимущество человека перед обезьяной.

— Наконец в этом, — неуверенно прошептал он, указывая на свой костюм, — в том, что мы всегда пристойно одеты и закрываем свой срам...

— Вот так преимущество! — взревел Хромой и сорвал с доктора его пиджак, жилет, брюки, а затем и нижнее белье... — Вот так величие! Вот и остался ты, в чем мать родила. А попробуй-ка, сдери ты с меня мою одежду!.. Что же касается пристойности, так действительно тебе есть что закрывать и прятать, а нам так нечего. Эй, обезьянушки, глядите на этого безволосого урода, вот так чудовище!..

Все подскочили к доктору и стали с любопытством разглядывать его жирное, розоватое голое тело. Самки и детеныши совершенно бесцеремонно перекатывали его с боку на бок, с живота на спину, щупали, трогали, залезали пальцами в рот, в уши, издеваясь над необычным видом его тела.

Бедный доктор Пиккеринг переживал нечто ужасное. Он не в силах был больше терпеть и, приподняв голову, умоляюще прошептал:

— Убейте меня, убейте меня ради всего святого!

— Лежи ты, дай и другим на тебя посмотреть, — легонько прихлопнул его по макушке Хромой, так что он чуть было опять не потерял сознание. И тогда доктор Пиккеринг понял: когда человек остается голым, он уже перестает быть человеком. У него не остается ни-

какой защиты, даже руки ему некуда спрятать. У него не остается уже веры ни в человеческую культуру, ни в собственное достоинство. Он слабее и беспомощнее лягушки.

Так доктор Пиккеринг остался жить с гориллами. Он жил вместе с ними, питался их пищей, занимался их делами, развлекался их развлечениями.

Обезьяны носились по лесу, перепрыгивая с дерева на дерево, а доктор Пиккеринг бежал за ними по земле, спотыкался, падал, вскакивал, опять бежал, догоняя стадо, потому что за отставание он получал такие подзатыльники и затрещины, от которых долго потом не мог оправиться.

Все его тело покрылось синяками, ссадинами, ушибами. На нем запеклась кровь, грязь. Рыжая щетина покрыла его шею и щеки.

Неспособный ни к драке, ни к бою, ни к добыванию пищи, он был приспособлен гориллами для ухода за малышами. На его обязанности лежало колоть орехи и развлекать малышей.

Малыши были довольно грубые и невоспитанные, и доктор Пиккеринг не раз вспоминал *Институт* для благородных фокстерьеров своей супруги. Вот бы дать такое же воспитание гориллятам! Но они не получали никакого воспитания и поэтому нередко теребили доктора за бороду, колотили его до полусмерти, кусали его и щипали. А он должен был терпеть и молчать, потому что за малейший протест взрослые гориллы избивали его еще более жестоко, чем малыши.

Хромой относился к нему сравнительно милостиво и не разрешал особенно сильно его увечить. Он проявлял живейшее любопытство к человеческой жизни и почти каждый вечер садился около обезьяноподобного

и подолгу выслушивал длинные рассказы доктора о том, как живут люди.

Пиккеринг рассказывал о больших городах, построенных в Европе и Америке, о небоскребах, трамваях, троллейбусах, метрополитенах, самолетах, кораблях. Он рассказывал о театрах и кино, о заводах и фабриках. Он цитировал Хромому Шекспира и Гомера, напевал наиболее популярные арии из «Кармен» и «Севильского цирюльника». Он рассказывал обезьяне об астрономии, математике, химии, зоологии и даже посвятил его в учение Дарвина и свое пиккерингово учение. Хромой внимательно слушал все его рассказы, лишь изредка прерывая их вопросами или насмешливыми репликами.

Хромому казалось все это страшно смешным и глупым. Он никак не мог понять, что может быть нужно живому существу кроме пищи, самки и боя. Для чего еще нужны всякие театры? книги? науки? Несмотря на длиннейшие монологи доктора, он так и не смог понять, какие чувства человек называет «жалостью», «честью», «достоинством», «сочувствием». В его душе таких чувств не было.

Люди казались ему очень смешными и жалкими. Но однажды он сказал Пиккерингу, что не прочь бы побывать среди людей: он уверен, что сумеет завоевать среди людей уважение и высокое положение, потому что его горилльи качества несравненно ценнее человеческих качеств.

Доктор усомнился в этом. Он высказал предположение, что как только Хромой приедет в Европу, его сразу же поймают и посадят в клетку. Хромой засмеялся в ответ:

— Плохо же ты знаешь наше племя, паршивая черепаха! Никакое количество людей не совладает со

мною силой. Я же не то, что люди. У меня же нет всяческих «жалостей», «сочувствий», «чести». А это такое преимущество в борьбе, что стоит ваших пулеметов и танков.

Когда Хромой ушел, доктор долго размышлял над его словами и пришел к выводу, что в некотором отношении горилла, может быть, и прав. Он, пожалуй, действительно мог бы пожить среди людей. Он даже мог бы стать отличным полицейским, так как полицейскому не нужны никакие человеческие качества, и чем более он похож на гориллу, тем лучше расправляется с рабочими. Думая дальше, он пришел к выводу, что горилла мог бы стать даже полицей-президентом, а может быть даже и еще более крупной фигурой в правительстве, так как всем известно, что такие, например, политические деятели, как Носке и Зеверинг, достигли высокого положения именно благодаря тому, что так же, как горилла, не знали и не понимали, что такое «жалость», «честь» и «достоинство».

Между тем Хромой все чаще и чаще возвращался к разговору о жизни среди людей. Он выучил довольно много слов — конечно, тех, которые были доступны его пониманию. Это были преимущественно глаголы: бить, резать, душить, валить, таскать, крошить, убивать, ломать.

Однажды вечером, придя к доктору, он сказал ему:

— Ну, ты, паршивая овца, подними свою бесподобную харю, я хочу с тобой серьезно разговаривать...

«Вот что, слабосильный червяк. Я решил отправиться на твою родину. Я отправляюсь туда не потому, что хочу у людей чему-нибудь научиться, а потому, что хочу их научить и заставить уважать и почитать гориллу. Ты понял меня, детеныш колибри? Вчера я сходил на тот холм, где мы разбили ваш жалкий лагерь, и

нашел там кое-какие твои тряпки и бумажки. Вот они, я принес их. Вот идиотский пиджак, жилетка, галстук. Ты должен научить меня носить эти тряпки и показать, которые из бумажек — деньги, чтобы я мог добраться до твоей родины.

Если ты все сделаешь для меня, что надо, я зайду к твоей жалкой самке и передам от тебя привет. Если я добьюсь среди людей успеха, то ты вернешься на родину. Но если меня там одолеют людишки, то мое стадо разорвет тебя в клочья и выпустит все твои кишки, развесив их на деревьях для просушки. Ты понял меня, павиан бесхвостый?»

Как тут было не понять? И доктору осталось только пожелать Хромому успехов, ибо он знал, что кровожадное стадо уж не упустит случая выполнить такое приятное распоряжение своего вожака.

Поэтому он заботливо стал натягивать на обезьяну свои кальсоны, брюки, рубашку, жилет, пиджак. Завязал вокруг его толстой мохнатой шеи свой красный галстук с зелеными горошинами. Одежда, конечно, была мала горилле и на нем не сходилась. Кое-что лопнуло, пока натягивалось на горилльи члены. Доктор отобрал из принесенных гориллой бумаг деньги и на клочке бумаги написал записку Элизабет:

«Моя дорогая очаровательная Элизабет! К тебе придет этот ужасный субъект, который является вожаком горилльего стада. Из моей экспедиции, как ты сама понимаешь, ничего не вышло. Я не только не изучаю горилльих глистов, но сам стал вроде глисты, такой же худой, беспомощный и несчастный. Я нахожусь в плену у горилл. Они обращаются со мной ужасно, унижая мое человеческое достоинство, совершенно не считаясь ни с моим образованием, ни с моим обще-

ственным положением, ни, наконец, с возрастом. Моя судьба и самая моя жизнь находятся в руках того существа, которое вручит тебе эту записку. Если его постигнет неудача — я буду растерзан его сородичами. Если же ему повезет, то я, может быть, буду спасен. Моя судьба, дорогая Элизабет, теперь в твоих руках. Помоги на первых порах моему властителю. Введи его в общество, обучи манерам, а я буду надеяться на тебя и на милость господа-бога нашего.

Преданный тебе Альфред Пиккеринг».

Хромой внимательно прослушал содержание записки и велел выбросить из нее слова «ужасный субъект», потому что, мол, она все равно убедится, что это не так, так как докторше он обязательно понравится, как нравится всем самкам своего стада, которые предпочитают его всем другим самцам.

Он положил в карман часы доктора, самопишущую ручку, которая ему очень понравилась, хотя писать он и не умел, воткнул в боковой кармашек платочек, как его научил Пиккеринг, сорвал громадный тропический цветок и вдел его в петлицу и в этом наряде взобрался на вершину дерева. Там он вытянулся во весь рост и завопил, созывая все стадо. Когда все собрались, он проревел небольшую речь.

— Обезьянушки, — проревел он, — я ненадолго вас должен покинуть. Я ухожу для того, чтобы доказать всему миру, что нет в природе существа сильнее гориллы, и утвердить во всем мире гориллью власть, чтобы стали гориллы хозяевами земли и могли беспрепятственно убивать, кого захочется, есть, что захочется, и спать, с кем захочется. Пусть вождем стада во время моего отсутствия будет Клыкастый, которому и передаю я все свои полномочия.

После этого он оставил распоряжения, как расправиться с обезьяноподобным, если через двенадцать лун от него, Хромого, не будет никаких известий, и на прощание предложил завести воинственный рев... Выпучив глаза и подняв кверху мохнатые руки в слишком коротких рукавах, он заревел первым, и его поддержали все остальные:

Нам ничего не нужно,
Кроме крови тех, кого мы не любим,
А не любим мы никого и ничего,
Кроме вкусных плодов
И наших самок.
Ах, как приятно сжать кого-нибудь так,
чтобы кости затрещали,
Ах, как приятно проломить кому-нибудь череп.
Сразу кровь начинает быстрее струиться по жилам,
И чувствуешь себя моложе и сильнее...

Еще не окончился этот воинственный рев, когда доктор увидел, что Хромой, взмахнув рукой, перескочил на соседнее дерево, потом на следующее. Из кармашка выпал белый платочек, и автоматическое перо вывалилось на землю. Потом Хромой повис, одной рукой взявшись за ветку, раскачался и ногами зацепился за другое дерево. И так, с ветки на ветку, с дерева на дерево, он умчался вдаль. И еще некоторое время в зеленой чаще мелькал его красный галстук с зелеными горошинами.

На этом кончается история пребывания доктора Пиккеринга в плену у обезьян и начинается другая история, которая, собственно говоря, и является предметом моего описания.

Глава третья.
ГОСПОДИН ГОРИЛЛИУС ДЕЛАЕТ УСПЕХИ

Часы на башне пробили полночь. Город медленно отходил ко сну. Из дверей ресторанов вырывались на улицу истошные визги оркестров. Проститутки на перекрестках кокетничали с ворами и бандитами. Сдвинув на затылки котелки, пошатываясь, проходили гуляки.

Элизабет Пиккеринг сидела в своем будуаре. На ее небольшом письменном столе стояла лампа под розовым абажуром и лежала раскрытая коробка шоколадных конфет. У ее ног на пухлой шелковой подушечке лежал благородный фокстерьер, получивший классическое воспитание в ее институте.

Элизабет утомилась от дел. Она отложила в сторону годовой отчет Общества для обеспечения безработных горничных розовыми ленточками на бюстгальтеры. За год было выдано шестьсот ленточек. Но так как на каждый бюстгальтер полагалось по две ленточки, это значит, что триста безработных горничных получили трогательный подарок, который скрасил их существование.

Она отложила в сторону программу обучения благородных фокстерьеров хорошим манерам. Устала. Все надоело.

«Нет, — подумала она, — я боюсь, что моя мятущаяся душа не успокоится даже среди фокстерьеров. Мне хочется куда-то вдаль, каких-то сильных, неведомых чувств, страстей...»

Потом она стала вздыхать, прикладывать к глазам надушенный платочек, делать трогательные гримасы.

...Тсс!.. Она пишет стихи, стихи о любви!

Чему же удивляться? Ведь и под закрытым платьем, олицетворяющим образец добродетельности, бьется женское сердце, а сердце неутешной вдовы в сорок лет — это такое сердце, которое стоит трех-четырех девичьих сердец.

Часы на башне пробили полночь. Но в кабинете министра внутренних дел господина фон Мамена еще шло заседание.

Двадцать четыре человека — министры и крупнейшие магнаты промышленности и финансов сидели за длинным столом, покрытым зеленым сукном, и совещались.

Говорил господин Хрупп, владелец крупнейших в стране оружейных заводов, угольных шахт, железных дорог.

Он обрушился на правительство со всей страстью и всей силой своих миллионов.

— Вы жалкие бабы, — говорил он, — а не государственные мужи. Рабочие распустились до невозможности. Они требуют сокращения рабочего дня — подавай им сокращение рабочего дня! Они требуют прибавки зарплаты — подавай им прибавку зарплаты! Завтра они потребуют, чтобы я отдал им мою жену — и что же? Мне придется отдать им мою жену? Вот до чего вы их распустили! А за что вы получаете деньги, милостивые государи? Я вас спрашиваю, господин министр... я вас спрашиваю, господин премьер... я вас спрашиваю, господин полицей-президент... Вместо того чтобы пустить в ход силу, которой вас наделила власть, вы занимаетесь всякими там убеждениями, разговорами да парламентарщиной... К чорту, мило-

стивые государи, к чорту! я хочу делать деньги, а не сентиментальничать с вашими рабочими организациями. Меня не устраивает такая власть, которая не может обеспечить мне хотя бы пятипроцентного ежегодного прироста моего капитала. Вы слышите меня, господа? Я кончил.

После него взял слово министр фон Мамен. Как читатель уже догадывается, он начал свою речь с длинной одышки, мешавшей ему произнести хоть слово. Но через не особенно продолжительное время он все-таки преодолел свою одышку и стал говорить со свойственной ему вежливостью, образностью, интеллигентностью, за что он, видимо, и попал в министры.

— Го-го-господа! С глубоким прискорбием и болью душевной слушал я выступление достопочтенного господина Хруппа. Что мы можем сделать, господа? Все в руках божьих.

Рабочих развращают большевики. Большевиками наводнена вся наша страна. На стороне большевиков многие писатели, художники, музыканты, ученые. Не могу же я, уважаемый господин Хрупп, посадить их всех в тюрьму. Что скажет международное общественное мнение? Мы, господа, все-таки просвещенная, гуманная, интеллигентная страна...

— К чорту вашу просвещенность, гуманность, интеллигентность! — совсем уж невежливо перебил господин Хрупп. — Мне нужно правительство крепкой руки и решительных действий. Вы поняли меня? Да?

* * *

Часы на башне пробили полночь. Но в дымном зале маленького бара за грязными столиками сидела золотая молодежь. Студенты Брюнхенского университета.

Закончилось пиво. Опустели кружки с массивными крышками и готической надписью на стенках: «Пей до дна, и бог тебя простит». Съедены золотистые сосиски. И что осталось? Только слова. Но разве могут утешить слова, когда хочется пива?

Они скучали, эти молодые люди с оголенными розовыми затылками, с мясистыми лицами и грустными глазами. Они скучали. Сегодня состоялся футбольный матч, в котором они выиграли у команды Брюнхенского университета. Завтра предстояла новая решающая встреча. Но между сегодня и завтра еще так много времени. Как убить его? Куда деть свои силы и свою жажду?

Малютка Ганс был детиной исполинского роста и достойной толщины. То ли от частого употребления пива, то ли по наследству от отца, владельца крупного сосисочного завода, только малютка Ганс, несмотря на свои двадцать пять лет, обладал такой комплекцией и такой силой, что мог одной своей жирной рукой поднять столик со всеми находящимися на нем бутылками, кружками и закусками.

Казалось бы, чего тужить такому детине? Однако он меланхолически говорил:

— Прозябаем мы, старина, прозябаем. Мы молоды, мы хотим веселиться. Так нет! Сиди в поганой аудитории и читай поганые книги.

— Да, жизнь, прямо сказать, никудышная, — мрачно ответил отчаянный Фриц, почесывая свои русые вихры. Он был незаконнорожденным сыном государственного прокурора и проститутки. С помощью своего высокопоставленного отца, он поступил в университет, но очень скоро разочаровался в науках и увлекся торговлей кокаином. Через непродолжительное время и это ему надоело. Он опять вернулся в университет,

объявив себя революционером и порвав связи с высокопоставленным отцом. Но так как жить на что-то надо было, то он пошел на содержание к престарелой кинозвезде. Однако и революционера из него не вышло, и звезда его закатилась, а папаша теперь уж сам порвал с ним. Тогда он стал предлагать себя любой политической партии для свершения террористического акта. Покупателей сразу не нашлось, и, совершенно разочаровавшись в жизни, он стал председателем студенческого клуба самоубийц.

— Никудышная жизнь! — опять повторил отчаянный Фриц. — Эх, выпить бы сейчас!.. Хозяин, не дашь ли опять в кредит? Нет? Ах ты, каналья!..

— Я уж сегодня просил, просил у папочки, ни гроша, сукин сын, не дал, — мрачно доложил Ганс.

— Вот, казалось бы, если поразмыслить — чего проще: взять да своротить башку на сторону этой жирной свинье буфетчику и выпить, чего захочется! А? Так нет, навыдумывали люди всякие там «чести» да «приличия»!.. Совсем человеку деться некуда.

— Да, это ты верно говоришь, старина. Вот на прошлой неделе случайно как-то пошутил с одной дамочкой. Ну, казалось бы, что об этом и вспоминать. Так нет, протокол составили, и пришлось папаше свой карман потрясти.

Тоска и меланхолия усиливались. Подперев голову руками, малютка Ганс задумчиво запел песенку золотой молодежи Брюнхенского университета:

Наши кулаки ищут драки,
Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
Наши языки ищут враки,
Ой-ля-ля, ой-ля-ля,
Ах, мне книга не нужна,

Ой ля-ля, ой ля-ля.
Я хочу бокал вина,
Ой-ля-ля, ой-ля-ля.

Так пели они, уставившись мутными глазами в пустые пивные кружки, когда дверь раскрылась и на пороге появился незнакомец с поднятым воротником и нахлобученной на самые уши шляпой. Он был невероятно широкоплеч, приземист, и руки его болтались, как два жгута. Шел он вразвалку, какой-то странной походкой, как будто приседая или идя на несколько согнутых ногах. Он немного прихрамывал.

Вошедший, не глядя по сторонам, прошел в самый темный угол и сел к столику. Низким, грудным голосом он заказал себе крепчайшего коньяку. Услужливый и добродушный буфетчик поспешил удовлетворить его просьбу и поставил перед ним рюмку. Незнакомец взглянул на нее, небрежным движением руки смахнул ее со стола и грозно закричал на буфетчика:

— Ты что, смеешься надо мной, земляной червь? Или я младенец, что ты наливаешь мне в наперсток? Налей мне в самую большую кружку, которая только у тебя есть.

Испуганный буфетчик бросился к стойке, а молодежь, заинтересованная поведением и словами незнакомца, разглядывала его.

— Ставлю свою Эмхен против твоей Гретхен, — сказал отчаянный Фриц, — что он выпьет всю эту кружищу до дна и даже не поморщится, я уж это вижу.

Малютка Ганс охотно принял спор.

А незнакомец, между тем, взял кружку в обе руки и одним глотком выпил все ее содержимое. Потом попросил буфетчика дать ему закусить: бананов или там каких-нибудь орехов.

— Коньяк закусывает бананами! Вот это да! — шептал потрясенный малютка Ганс. Он был так заинтересован незнакомцем, что даже не испытывал сожаления об утраченной Гретхен. — Вот это да! — шептал он в экстазе. — Вот это я понимаю!

Между тем незнакомец, закусив вместо орехов жареными каштанами, попросил и сразу же выпил еще одну такую же громадную пивную кружку, наполненную коньяком. Выпив, он даже забыл закусить.

Удивлению и восторгам восхищенных студентов не было пределов. Во все глаза глядели они на незнакомца, как он откинул ногой стул и пошел, несколько волоча одну ногу, к дверям. Путь его лежал как раз мимо их столика. Они с интересом разглядывали его уродливое, заросшее какой-то коричневой щетиной морщинистое лицо и думали:

«Вот это парень! Вот это да! Хоть он и похож на обезьяну, но это действительно человек, и стоящий того, чтобы с ним познакомиться».

Незнакомец шел прямо на них. Он приблизился к стулу, на котором сидел малютка Ганс, и даже шагу не сделал в сторону, чтобы его обойти, — просто своротил стул на бок, так что малютка Ганс плюхнулся на пол и растянулся.

— Вы могли бы хоть извиниться, господин, — вскочил на ноги вспыливший Фриц.

Незнакомец, даже не остановившись, спросил:

— Чего ты лепечешь, печенка мартышки?

— Если вы не смогли обойти стул, то, по крайней мере, можно было попросить нас посторониться. За это морду бьют, милостивый государь...

— Бьют? — с удивлением переспросил незнакомец. Это слово его, видимо, заинтересовало. Он остановился. Даже повернулся назад. При этом он весь вдруг вы-

тянулся, стал выше ростом, шляпа на его голове заходила ходуном, нижняя челюсть отвисла, и он раза три-четыре стукнул себя кулаком в грудь, после чего одним махом сбил с ног побледневшего от гнева и страха Фрица, откинул ногой Ганса, еще лежавшего на полу, и неистовым тумаком встретил подбежавшего к нему буфетчика, который стремительно пролетел через весь зал и, описав траекторию, приземлился под одним из столиков.

Незнакомец огляделся и, видимо удовлетворенный результатами своей деятельности, подошел к стойке и наполнил себе еще одну внушительную кружку.

Малютка Ганс приподнял голову. Он тихо стонал, но я не знаю, от чего больше: от боли, удивления или восторга, который светился в его взоре, устремленном на незнакомца. Фриц тоже приподнялся. Громадные синяки под обоими глазами, кровь и рассеченная щека несколько препятствовали проявлению его чувств. Но во всяком случае в его взгляде можно было заметить нескрываемое любопытство.

Незнакомец увидел, что молодые люди пришли в себя, и, считая инцидент исчерпанным, с самым невозмутимым видом протянул им по кружке пива из тех, что стояли на стойке.

— Не можете ли вы, жалкие бородавки на хвосте крокодила, — спросил он с наивеличайшей вежливостью, — сказать мне, как пройти вот на эту улицу? — И он протянул записку, написанную доктором Пиккерингом.

Видя, что гнев незнакомца прошел, отчаянный Фриц не отказался от предложенной кружки пива, справедливо считая, что пиво — лучшее лекарство от всех болезней. Его примеру последовал и малютка Ганс. Они выпили пиво, сидя на полу, и отчаянный

Фриц, терзаемый любопытством и восхищением, даже не заметив вопроса незнакомца, робко и подобострастно спросил:

— Разрешите спросить вас, уважаемый господин, если, конечно, вам будет угодно ответить. По какому праву вы нас так ужасно избили?

— По праву своей силы, ослиное ухо, — миролюбиво отвечал незнакомец. — Могу вас избить, потому и избил. Вы бы меня тоже избили, да только не можете.

— Но за что, позвольте узнать? — не унимался Фриц.

— Да за то! Руки просто затекли, вот и размялся...

Страшно пораженный такими речами, такой смелостью и таким нахальством, малютка Ганс даже встал на ноги, и Фриц последовал его примеру.

— Это интересно слышать, — сказал Ганс, — но как же вам не стыдно ни за что, ни про что избивать людей? У меня вот тоже много силы, но я же...

— Проклятая гусеница! Ты говоришь о стыде, потому что у тебя мало силы. Я не знаю, что такое стыд, и мне он совсем не нужен.

— Но надо же иметь совесть.

— И этого я не знаю.

Услышав, что незнакомец довольно мирно разговаривает, буфетчик высунулся из-под стола и крикнул:

— Вот это и есть бессовестно: бесплатно пить, посуду разбить, а потом закинуть под стол хозяина... — И, страшно испуганный своей смелостью, он забрался еще глубже под стол и опустил скатерть, чтобы его совсем не было видно.

— Как человечки любят рассуждать! Устал я с вами разговаривать. Ничего такого я не знаю: ни стыда, ни совести. Что хочу да что могу — то и делаю. Вот мой гориллий закон.

— Почему гориллий?

— Потому что я горилла!

Молодые люди вряд ли поверили, что разговаривают с настоящей гориллой, но речи и философия их нового знакомого так им понравились, что они вручили ему свои визитные карточки и предложили ему свою дружбу.

После этого малютка Ганс и отчаянный Фриц вызвались проводить гориллу по адресу, указанному в записке, и по дороге восторженно жаловались на горькую человеческую участь и откровенно признавались, что если ему, горилле, — как он себя называет, — можно кого угодно бить, где угодно пить, кого вздумается насиловать, то они тоже хотят стать гориллами.

За такими разговорами незаметным показался путь до дома Пиккерингов. У парадных дверей друзья расстались, пообещав в полдень следующего дня заехать за гориллой и взять его с собой на решающий матч между брюнхенскими и грюнхенскими футболистами.

Горилла остался один. Широкая двустворчатая дверь была заперта. Что было делать? Ему не пришло в голову, что можно нажать кнопку звонка, а показалось значительно более легким упереться коленкой в дверь и без излишних усилий, почти без треска выломать ее. Он очутился на широкой мраморной лестнице. Глаз зверя, привыкшего к темноте, хорошо разбирался в полумраке ночного дома. Он без труда определил, что на втором этаже, в первой комнате направо, горит свет. Он поднялся на второй этаж и растворил незапертую дверь. Эта комната была спальней Элизабет.

На диванчике — в беспорядке разбросанные платье и белье. У кровати — пара бархатных туфелек. На маленьком спальном столике горел голубой ночничок и лежал раскрытый томик Ницше. Добродетельная Эли-

забет под впечатлением вечерних стихов разметалась на постели. Голубое шелковое одеяло сбилось, и горилла увидел добродетельную докторшу в таком виде, в каком не видел ее, наверное, даже собственный муж.

Вероятно, даже самый неразборчивый и распутный мужчина, увидев обнаженную Элизабет, почувствовал бы одно непреодолимое желание — прикрыть ее. Но горилльи понятия о красоте не соответствуют человеческим, поэтому и поведение его на этот раз, как и всегда, не соответствовало поведению человека..

Я не знаю, что в это время снилось добродетельной Элизабет. Только, наверное, ей снился приятный сон, так как во сне она улыбалась. И, наверное, этот сон был очень крепок, так как до самого утра она не проснулась. Куда делась ее бессонница? И далее утром, когда солнечные лучи уже залили всю комнату, ей было так жалко расставаться со своим сном, что она сначала схватила приснившегося ей Лоэнгрина за руку, боясь, чтобы сон не улетучился, и только тогда уже раскрыла глаза..

И тогда она увидела страшную волосатую рожу своего незваного гостя. Может быть, это ее супруг, внезапно вернувшийся из экспедиции, стал еще более похожим на обезьяну? Где там! Его ласки казались ей ласками мотылька по сравнению с бычачьими ласками этого господина. Она решила испугаться и закричать. Но нет, не стоило. Тогда пришлось бы навсегда расстаться со своим чудесным сновидением... С этими мыслями она разбудила гостя и, кокетливо запахивая свой кружевной пеньюар, прямо спросила у него: что ему, собственно, нужно?

Хромой, не знающий человеческих условностей, добросовестно объяснил ей, что ему здесь нужно, а затем вручил ей записку от мужа.

Элизабет прочла и очень обеспокоилась. Она уже настолько свыклась со своей ролью очаровательной вдовушки, что совсем была не намерена вновь тянуть лямку добродетельной супруги. Она была неутешна, узнав о горестях доктора Пиккеринга, но стала еще более неутешной, узнав, что горилла собирается вскоре отпустить его на родину.

В это время в дверь постучали, и горничная доложила, что ночью произошло несчастье: кто-то выломал, двери в парадной. Однако хозяйка нисколько не взволновалась и тут же спокойно сообщила горничной, что из далеких стран приехал двоюродный брат покойного доктора, что он будет жить в их доме, и приказала приготовить ему комнату.

— Господин горил... — она на минутку задумалась, но сразу же нашлась, — господин Гориллиус, я надеюсь, вы спуститесь к завтраку.

Господин Гориллиус, как стал он с этих пор называться, прошел в отведенную ему комнату и мимоходом захватил с собой и горничную. Через полчаса молоденькая горничная, видимо, стала столь же добродетельной, как и хозяйка, потому что высоким воротничком и длинными рукавами прикрыла свою шею и руки.

Не успел горилла доесть утренний завтрак, как зазвенел телефон и нежный голос малютки Ганса вызвал его на улицу.

Выйдя из дому, горилла увидел открытый автомобиль. В нем сидели его новые знакомые.

Появление гориллы они встретили восторженными приветствиями, и сразу же машина помчалась по широким столичным улицам.

— Ну, как спали, уважаемый? — осведомился отчаянный Фриц.

— Как вам понравился наш город? — спросил малютка Ганс.

Но горилла не умел вести вежливого и безразличного разговора и не стал отвечать на эти пустые вопросы, а в свою очередь спросил:

— Так куда же вы меня везете, ослиные копыта, гнилые зубы из вонючей пасти бегемота?

Обоим очень понравилось такое обращение, и они охотно рассказали горилле про два старинных университета, столетиями враждующих и соревнующихся между собой. Узнав, что студенты должны обязательно бывать в университете и там их чему-то учат, Горриллиус спросил:

— Ну, и как же вас учат, бесшерстные павианы? Научили ли вас сломать хребет льву, вскочив ему на спину, или броситься с дерева на человека, раздавив его под собой в лепешку?

— Нет, вы несколько упрощенно представляете себе университет, — объяснял ему Ганс, — таким вещам, к сожалению, в университете не учат. Этому каждый из нас кое-как учится самостоятельно.

— А чему же тогда вас учат, правое легкое носорога?

— Чему? Ну, философии, истории, литературе, праву.

— Ах, дурачье, дурачье, жалкие слабосильные гусеницы, — жалел их горилла, — и на кой чорт вам все это надо? Я вот никогда ничему не учился и живу так, что дай бог каждому. Отец научил меня одним ударом лапы разбивать спинной хребет любому животному. Дядя научил меня одной затрещиной сворачивать на сторону любой череп. Мама научила меня прокусывать шею, какой бы крепкой кожей ни была она защищена. Что мне еще надо?

— Да, но вы все-таки, простите, горилла, а мы же люди, — пытался убедить его отчаянный Фриц.

— Да, я горилла и жалею вас, что вы не гориллы. Пока вы там занимаетесь науками, я прекрасно провожу время, сворачивая на сторону скулы, развлекаясь с самками и наполняя свой желудок.

— Да ведь он, пожалуй, и прав, — сказал малютка Ганс Фрицу. — Ах, почему, старина, и мы с тобой не обезьяны! Какая роскошная жизнь, какая свобода! Никаких экзаменов. Папенька мой подавился бы своей сосиской от злости.

Отчаянный Фриц мрачно изрек:

— Я даже начинаю думать, что в моих жилах течет обезьянья кровь. Во-первых, потому, что я никогда не испытывал уважения к наукам, а, во-вторых, еще Чарльз Дарвин говорил, что люди произошли от обезьян.

— Вот это здорово! — обрадовался малютка Ганс. — А то, глядя на своего папаню, я уже начал подумывать, что человек произошел от сосиски. Ай да Чарльз Дарвин!

— Да, но ты не учел, старина, что этот Дарвин почти большевик, а раз так, то и...

— В чем дело? Это мог сказать и Фридрих Великий...

— Гм... сомневаюсь.

— А почему он не мог этого сказать? Ну, хотя бы в пьяном виде.

— Вот только, если в пьяном, — согласился малютка Ганс, тщательно рассматривая свои толстые конечности.

— А тебе не кажется, старина, что если я встану во весь рост и несколько согну спину да опущу вниз руки, то я действительно буду похож на гориллу?

— Если и будешь похож, то лишь самую малость.

— Итак, господин горилла, разрешите мне считать себя вашим родственником.

— Жалкая киви-киви, — ответил горилла, — никогда человек не будет похож на гориллу. Но тот из вас, кто меньше думает, у кого сильнее бицепсы и в чьих жилах течет обезьянья кровь — тот достойнейший из вас.

— Я думаю, — размышлял малютка Ганс, — что в моих жилах все-таки течет обезьянья кровь. Еще в детстве папочка звал меня обезьяной. «Эх ты, моя обезьяна», говорил он. Я полагаю, что он имел на это какие-нибудь основания, а, как выдумаете?..

— Мой отец сам был обезьяной, — мрачно сообщил отчаянный Фриц о своем высокопоставленном отце. — Так нередко его называла мать, когда была пьяна и читала в газетах его речи.

Так, с большим увлечением, они восстанавливали свои генеалогические линии, пока не подъехали к самым воротам стадиона.

Все трибуны уже были заполнены. Гул стоял над футбольным полем. Краснолицые от выпитого пива, жаждущие приключений и событий, студенты Брюнхенского и Грюнхенского университетов с нетерпением ждали начала..

Наконец прозвучал свисток судьи, и на поле появились две команды. Брюньонцы были в красных фуфайках, а грюньонцы — в синих. Трибуны загудели, как улей. Мяч взлетел в воздух, и игра началась.

С первого же тайма с поля было унесено два игрока. Ганс, Фриц и горилла сидели довольно высоко и с увлечением следили за перипетиями игры. Как только успех изменял брюньонцам, они вскакивали с мест и начинали орать: «Наших бьют!!! Эй вы, ослиные уши, крепче, крепче же... в зубы, в зубы этому форварду!»

Слыша, что «наших бьют», горилла каждый раз начинал колотить себя в грудь и пытался прыгнуть вниз на подмогу «нашим». Только невероятными усилиями удавалось друзьям водворить его на прежнее место и несколько успокоить.

Но в разгаре второго тайма бек грюньонцев не только подставил ножку брюньонцу, но еще дал ему кулаком в зубы. А подлец судья, увидев брюньонца, утирающего кровь, присудил штрафной удар в пользу грюньонцев. Ну, как это было стерпеть?

— Судья подкуплен, подкуплен! — орали брюньонцы.

— Аааа! — шумели трибуны.

Ганс вскочил на скамью и стал с таким усердием притопывать на ней, что скамья под тяжеловесным малюткой проломилась. Отчаянный Фриц мрачно засунул два пальца в рот и свистел, будто главарь разбойников, созывающий свою шайку.

Испугавшийся судья решил, что лучшее — это делать вид, что он ничего не замечает, надеясь, что страсти улягутся сами собой. Но они не улеглись, а даже, наоборот, достигли неистовства.

— Проучить его, собаку! — орал отчаянный Фриц, забрызгивая слюной всех орущих впереди.

— Аааа!.. — визжал во все горло пронзительным фальцетом малютка Ганс, потрясая кулаками.

Ну, такого испытания горилла, конечно, не выдержал! Одним рывком вырвался он от своих друзей, пролетел над рядами и оказался на самой вершине трибуны. Он вытянулся там во весь рост и грозно зарычал. Сотни кулаков внизу угрожали кучке людей, бегавшей по полю. Шерсть Гориллиуса встала дыбом. Шляпа поднялась над головой и будто повисла в воздухе. С отвисшей губой и пьяными от ярости глазами, с неис-

товым ревом, покрывшим рев обезумевшей толпы «болельщиков», он раскачался и одним прыжком очутился на футбольном поле около растерявшегося судьи.

Что случилось с публикой? Все глядели на поле и угрожали, кто брюньонцам, кто грюньонцам. Все услышали рев. Все увидели, что какая-то черная масса низринулась сверху. Брюньонцы подумали, что грюньонцы бросили бомбу. Грюньонцы подумали то же самое о брюньонцах. Короче говоря, паника поднялась невообразимая.

Раздавая во все стороны удары, тесня и давя друг друга, все бросились вниз, к полю, на выручку своим командам.

Горилла ворвался в толпу футболистов, уже смешавшуюся с озверевшими «болельщиками», и одним взмахом расшиб череп судье, затем уложил обоих беков и одного форварда. Публика еще не успела понять, что происходит и кто кого бьет, так как горилла, размахивая длинными руками, разбрасывал всех вокруг себя, люди, разлетаясь, ушибали других, и казалось, что все поле кишит беснующимися и яростными драчунами, как отчаянный Фриц и малютка Ганс уже подоспели и потащили Гориллиуса к выходу.

Пьяный от ярости горилла чуть было не перешиб хребет и Фрицу. Но разглядев, что это новый его приятель и что жертв на поле уже осталось немало, послушно дал себя увести.

Машина быстро помчалась по улицам, а Ганс и даже отчаянный Фриц в восторге хохотали от невероятного приключения, отличного зрелища, от решительности и предприимчивости своего человекоподобного друга.

По пути им встретилось немало машин, мчащихся навстречу. Это ехала полиция, торопилась к месту происшествия скорая помощь. Уже в вечерних газетах появились заметки:

«БОЙ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

В разгаре футбольной игры между командами Брюнхенского и Грюнхенского университетов бек команды грюньонцев, покойный господин Бресс, нарушил правила игры, случайно разбив лицо покойному господину Мейнингеру, чего не заметил судья, покойный господин Сивере.

Публика стала настолько горячо протестовать против нарушения правил игры, что один почтенный господин выбросился из верхнего яруса трибуны. В результате чрезвычайно горячих протестов, перешедших во всеобщую свалку, без признаков жизни на поле остались почти целиком обе команды, судья, 15 человек из публики. 23 человека тяжело ранены, и 10 — отделались незначительными ушибами».

Ганс и Фриц не могли прийти в себя от восторга:

— Вот что значит действовать, а не болтать языком. Пока мы там орали да свистели, он раз-раз да и укокошил десятки грюньонцев. Вот у такого существа следует и нам поучиться.

И они стали называть Гориллиуса учителем, как первые христиане называли Христа.

После этого приключения всем захотелось хорошо выпить. Друзья поехали за город, в какой-то дачный ресторан, где отлично провели время, позабавившись с молоденькой буфетчицей, выпив целую бочку пива, разбив окна в двух небольших коттеджах, изувечив

одного полицейского и раздробив хребет породистому быку-производителю.

Ночь застигла их в маленьком баре на большой дороге, где они сидели обнявшись и пели песню, путая строфы из песни студентов Брюнхенского университета и рева, привезенного гориллой с Нижней Гвинеи.

Нам ничего не нужно,
Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
Кроме крови тех кого мы не любим,
Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
Наши кулаки ищут драки,
Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
Наши языки ищут враки,
Ой-ля-ля, ой-ля-ля.

— Учитель, — говорил отчаянный Фриц заплетающимся языком, — я буду верен тебе до самой смерти. Располагай мною, учитель. Я всю жизнь искал такого учителя, как ты. Учитель, мы сделаем тебя царем и властителем, хочешь?

— Чего ж, мне к этому не привыкать. Я был хорошим вожаком горилльего стада, а среди вас, червяков, так тут и лягушка сможет стать вожаком...

И господин Гориллиус, вполне довольный своими первыми успехами, стал миролюбиво рычать себе под нос:

Наши маленькие детеныши, скорее начинайте убивать,
И тогда вы будете достойны называться гориллами
И сможете выбрать себе самку по вкусу
И забавляться с нею, когда хотите.

На этом кончается история первых успехов господина Гориллиуса в Европе и начинается другая история, которая, собственно говоря, и является предметом моего описания.

Глава четвертая.
МЫ ГОРИЛЛЫ! МЫ ГОРИЛЛЫ!

«Моя душка, крошка Кэт! Я не могу найти таких слов, которые смогли бы передать тебе всю страсть и пламень охватившей меня любви. Я понимаю, что тебе очень трудно будет представить свою всегда такую благоразумную и выдержанную Элизабет в роли восторженной влюбленной. Но что делать, дорогая? Любовь не подвластна нашей воле. И молодая вдова может иметь душу девственной девушки.

Ты спросишь: кто он? О, душка Кэт, как трудно мне ответить тебе на этот вопрос. Он настоящий мужчина, идеал мужчины. Без сантиментов. Без размышлений. Он воюет и любит. Других дел он не знает. И с какой страстью он делает оба эти дела!.. Ах, Кэт!..»

Так писала Элизабет своей задушевной подруге.

«Уважаемая госпожа Хрупп! Примите поклон и благорасположение бедной, неутешной вдовы, оплакивающей своего незабвенного отважного супруга, отдавшего жизнь свою ради науки.

Я была бы счастлива, если бы увидела вас среди своих гостей, которые почтят меня своим присутствием на скромном рауте, имеющем быть в четверг, в пять часов вечера. Будут только свои, очень узкий и избранный круг.

Кроме того, не скрою от вас, будет один господин, недавно приехавший из Нижней Гвинеи и уже успевший

завоевать в нашей стране очень большую известность. Я ничего не буду писать вам о нем, ибо что я ни написала бы, это будет настолько бледнее оригинала, что вы сочтете меня бездарной. Не сомневаюсь, что его приглашением я доставлю вам колоссальное удовольствие.

Итак, жду вас, дорогая госпожа Хрупп, вместе с вашим уважаемым супругом».

Так писала Элизабет самой знатной и влиятельной даме столицы.

А в это время в дымном зале маленького бара за грязными столиками сидела большая компания. Были здесь и студенты Брюнхенского университета из числа тех, которым учение никак не давалось, были и друзья отчаянного Фрица по прежним его похождениям — торговцы кокаином, принципиальные сутенеры и члены клуба самоубийц. Сегодня угощали малютка Ганс и отчаянный Фриц.

— Теперь нам деньги совсем не нужны, — хвастался малютка Ганс, — теперь мне уж не придется клянчить у папаши, пусть папаня поклянчит у меня на свои сосиски и сардельки...

— Жизнь — это драка, — философствовал отчаянный Фриц. — Тот, кто рассуждает да выдумывает себе всяческие жизненные преграды да условности, тот червь. Надо жить так: что хочу да что могу, то и делаю. Вот в чем мудрость. А на других наплевать. Другие пусть сами за себя думают. А вообще думают только черви. Гориллы не думают. Надо жить, не думая. Пусть за меня думают мои кулаки.

— Папочка спрашивает меня: «Что это ты такую моду выдумал носить коричневую рубашку?» — весело

рассказывал малютка Ганс. — И так, говорит, обезьяна, а в этой рубашке совсем, говорит, обезьянище. Ха-ха! А я ему и отвечаю: «Не хочу больше быть человеком, а хочу стать обезьяной. Что хочу да что могу, то и делаю...»

Окружающие с удовольствием пили их пиво, с интересом слушали их странные речи и с любопытством щупали их коричневые рубашки цвета горилльей шерсти.

— В нас течет обезьянья кровь, — в упоении философствовал отчаянный Фриц, — и всякую человеческую кровь, которая течет в иных жилах, мы выпустим к чортовой матери. Эй вы, кто не хочет думать, кто не хочет считаться с другими, кто хочет жить, как живут звери, — идите за нашим учителем, за нашим вожаком, господином Гориллиусом!. Я поднимаю кружку за горилл, за Гориллиуса, за зверей!... Хох-хох-хох!..

В четверг состоялся раут у Элизабет Пиккеринг. Усиленный отряд полиции охранял квартал. Одна за другой к ярко освещенному подъезду особняка подкатывали машины, и из них выходили мужчины и дамы. Здесь был весь цвет нации. Министры, фабриканты, банкиры, политические вожди, дипломаты и несколько представителей науки и искусства.

Свет хрустальных люстр множился в лысинах, в блестящей мишуре военных и белоснежном белье штатских. Дамы сияли бриллиантами, соперничая своим ослепительным сиянием с люстрами. Одна лишь добродетельная Элизабет была одета в платье с высоким воротником и длинными рукавами.

Она была приветливой и гостеприимной хозяйкой. Каждой гостье она шептала:

— Скоро придет господин Гориллиус, о, вы влюбитесь в него, я уж знаю...

Уже собрались все. Приехали господин Хрупп с супругой, министры, посланники и артисты. Ждали только господина Гориллиуса.

Никто в высшем обществе Гориллиуса еще не видел. Но имя его было известно многим. Благодаря малютке Гансу и отчаянному Фрицу слава господина Гориллиуса быстро распространилась по всем пивным, барам и низкопошибным ресторанчикам. Боксеры передавали друг другу новый прием: удар Гориллиуса. Сутенеры передавали друг другу новый прием: любовь Гориллиуса. Неспособные студенты, отказываясь от сдачи экзаменов, ссылались на Гориллиуса... Бандиты, кокаинисты, потомки сосисочников и сарделечников повторяли: что хочу да что могу — то и делаю.

Гориллиус стал героем дня. Поэтому в высшем обществе проявляли нескрываемый интерес к этому субъекту, называвшему себя гориллой, завоевавшему такую популярность, утверждавшему столь оригинальные вещи.

И вот, наконец, появился сам господин Гориллиус. Он вошел в ярко освещенный зал в сопровождении своих *двух* друзей, одетых в коричневые рубашки цвета горилльей шерсти.

Казалось бы, что животное, лишь совсем недавно попавшее из диких джунглей в европейскую столицу, должно было бы растеряться, смутиться от десятков глаз, устремленных на него. Но ничуть не бывало. Горилла нисколько не смутился. Чего ему было смущаться, когда для него не существовало понятий чести, гордости, тщеславия, достоинства? Терять ему было нечего.

Он прошел по залу, будто и не заметив гостей. Только проходя мимо слишком обнаженных женщин, он слегка раздувал ноздри, и у него загорались чер-

ные, глубоко посаженные, глазки. Он подсел к Элизабет и довольно грубо облапал ее. Один за другим спешили гости знакомиться с ним. Он, сурово насупившись, протягивал каждому свою коричневую лапу и пожимал руку так, что люди морщились и гримасничали от боли.

Когда очередь дошла до министра господина фон Маме-на, он подскочил своей молодящейся походкой и, прижав руки к груди, произнес:

— Ах, дорогой господин Горилл...

Гориллиус зевнул и прорычал:

— Ну, хватит, мне это надоело. Давай чего-нибудь пожрать.

— Ах, ах, — подхватили дамы и кавалеры, — какая непринужденность, какая непосредственность: «давай чего-нибудь пожрать». Вот подлинно сын природы! Ах, ах!..

— Ну, ну, чего раскудахтались, визгливые курицы, марш в столовую, пока я не раскокал ваши птичьи черепа...

— Ах, ах, — восторгались дамы и мужчины, — чего, спрашивает, раскудахтались... Как очаровательно!.. Какой сочный язык, какая свежесть мысли!

За столом Гориллиус сидел между госпожой Хрупп и очаровательной Элизабет.

Он ни за кем не ухаживал. Сгребал со стола все самое вкусное и, нередко забываясь, начинял хватать куски руками прямо из блюда или вазы, при этом громко чавкая, сопя и разбрызгивая соуса на туалеты своих соседок.

Однако все это воспринималось высшим светом как проявление чрезвычайной оригинальности, непосредственности, экстравагантности, независимости и протеста против условностей.

— Скажите, — кокетливо спрашивала у него госпожа Хрупп, — правду ли говорят, что вы не человек, а горилла?

— А ты как думаешь, голобедрая самка? — отвечал он, взяв с блюда целого гуся и разрывая зубами его мясо. — Я разорвал бы нутро своей матери, если бы она родила меня жалким человечком, — говорил он, чавкая и лязгая зубами.

— Ах, вы слышите, он бы разорвал нутро своей матери... — передавали гости один другому, вокруг стола.

— А каковы ваши политические убеждения? — не унималась госпожа Хрупп, желая занять и развлечь своего оригинального соседа.

— Это вы, людишки, занимаетесь убеждениями. А нам, зверям, убеждения ни к чему. Мои убеждения — это мои кулаки. Вот какие мои убеждения.

— Ах, как это оригинально и мудро! — воскликнул господин министр фон Мамен. — «Мои убеждения — это мои кулаки!» Это изречение достойно Фридриха Великого, господа! «Мои убеждения — это мои кулаки!»

— Но все-таки, какова же ваша программа? — настаивала госпожа Хрупп.

— Ох пристала, ох пристала! — отмахивался горилла, вытирая свою сальную морду рукавом черного фрака. — Какая там программа? Я хочу есть, пить, спать со своими самками да ломать хребет всякому, кто помешает мне это делать.

Господин фон Мамен даже подскочил от энтузиазма:

— Вы послушайте, господа, какая глубина мысли! Ведь это же глубочайшая философия! Ведь программы всех политических партий по существу сводятся к тому, чтобы дать человеку возможность есть, пить да... э-

э-э... любить. Ведь в этом по существу корень всей политики. Ведь это по существу и есть разрешение рабочего вопроса и всех других вопросов! Ведь это же подлинная философия!

— Какая там философия? Чего ты бубнишь, старый осел? — удивился Гориллиус. — Просто есть, пить да развлекаться с самочками без всякой философии!

— Но, простите, — отложил в сторону нож и вилку профессор Давид Дерви. — А наука? Познание природы? Расширение своих знаний?

— Жри ее сам, свою науку, я и без нее сыт! — коротко ответил Гориллиус.

— Но искусство? — спросил Авраам Равинский. — Разве может человек жить без искусства? Без музыки?

— Моя музыка в моем животе, — глубокомысленно разъяснил горилла. — Когда там полно, там что-то бурчит. Лучшей музыки мне не надобно.

— А как же, простите, господа, мне не понятно, — почти плача, взмолился Роберт Ван Барро, — а для чего же лучшие люди человечества создавали свои изумительные творения, для чего же жили Рафаэль, да Винчи, Гойя, Роден? Для чего неизвестный гениальный ваятель сделал свою мраморную Венеру?

— Спи сам со своей мраморной Венерой, а мне больше по нраву этакая волосатая....

Дамы и мужчины повторяли каждое слово гориллы, восторгаясь смелостью его суждений...

Но старик Давид Дерви поднялся из-за стола.

— Я не могу с этим согласиться, господа. Господин Гориллиус хочет низвести человечество до уровня животных.

— Почему низвести? — вмешалась Элизабет Пиккеринг. — Вы, может быть, слышали, что один молодой студент, который, кстати, присутствует здесь, нашел в

архивах Брюнхенского университета высказывания Фридриха Великого, что человек произошел от обезьяны и надо нам возвыситься до наших предков.

— Да, да, я тоже слышал об этом крупнейшем открытии, — поддержал министр фон Мамен.

— Но, господа, — дрожащим голосом взывал Авраам Равинский, — если нам надо уподобиться обезьянам, то кому нужна моя симфония? В ней выразил я всю мощь, всю силу и красоту человеческого духа. Я вложил в нее все самое лучшее, что у меня есть. Свою душу, свою страсть, свою любовь к человечеству. Так неужели же бурчание живота вам будет приятнее и нужнее?

— Ха, ха, вот именно бурчание живота, если хотите, приятнее, как говорит господин Гориллиус! — поспешила ответить Элизабет.

— Так вы хотите закрыть музеи, покрыть чехлами статуи? — в ужасе шептал Ван Барро.

— Нет, старая песочница, я хочу сломать эти статуи и кусками бить по твоей глупой башке, — охотно пояснил Гориллиус.

— Господин, вы забываетесь, — вспылил Ван Барро и вскочил из-за стола. — Я не позволю себя оскорблять, я член Академии, я...

— Ты член Академии? Подумаешь, шишка! А я горилла... Так кто же из нас сильнее?

И с этими словами господин Гориллиус откинул свой стул и перепрыгнул через стол, опрокинув бутылки и свалив на пол блюда и тарелки. Схватив старого художника своими могучими лапами, он подбежал с ним к окну и замахнулся...

Все вскочили из-за стола. Авраам Равинский и Давид Дерви раньше всех очутились около гориллы, чтобы спасти старого и уважаемого художника.

— Что вы делаете? Опомнитесь! — кричал Равинский.

Но было уже поздно. Стекло зазвенело, и Роберт Ван Барро вылетел с третьего этажа на площадь.

Равинский вцепился в сюртук гориллы, но тоже был поднят кверху и с размаха выброшен вслед за художником. За ними последовал и их третий приятель...

Тогда горилла обернулся. Он был страшен в этот момент. Его шерсть стояла дыбом, пена стекала по отвисшей губе. Забывшись, он встал на четвереньки и несколькими прыжками добрался до двери.

Гости стояли пораженные.

— Он понервничал, — объяснила Элизабет, — он ужасно вспыльчивый, его нельзя раздражать.

— Да нет, — поправил ее господин фон Мамен, — господин Гориллиус не столько нервен, сколь принципиален. Он готов кровью отвечать за свои убеждения. Он урожденный политический вождь.

Господин Хрупп единственный из всех гостей продолжал спокойно доедать крылышко рябчика. Все, что не грозило его прибылям, его нисколько не волновало. «Ну, тремя знаменитостями будет меньше на земле... Тоже событие!» Однако, когда его супруга вернулась на место, он выдавил из набитого рта несколько слов, прерываемых длинными паузами, чтобы прожевать пищу.

— Вот, мамочка, человек сильной воли. Не слов, а... действий... вот такое бы мне правительство, это... не то, что всякие там... мамены... Он бы уж... не дал спуска марксистам и рабочим... Пригласи его, мамочка, как-нибудь к нам...

Эти слова хотя и были сказаны совсем тихо и предназначались только для госпожи Хрупп, но были

услышаны всеми. Потому что так уж устроено человеческое ухо, что чем тише слово сказано, тем громче оно звучит... И тотчас все стали передавать друг другу на ухо:

«Вот человек воли и действия, это не то, что там всякие мамены...»

И даже сам министр господин фон Мамен, и тот потихоньку сообщил своему соседу: «Вы слышали, что сказал господин Хрупп? Он сказал: вот человек воли и действия, это не то, что всякие там... такие...»

Но не успели еще гости разойтись, как услышали сильный грохот, доносящийся сверху. Озабоченная Элизабет хотела подняться на четвертый этаж, посмотреть, что там происходит. Но сделать это ей не удалось, так как по лестнице сверху вниз катились люди: один, другой, третий... Докатившись до площадки и чуть не сбив с ног хозяйку, они растерянно поднялись на ноги. Потирая ушибленные места, перед нею предстали шесть полицейских.

— Что вы здесь делаете? — спросила Элизабет.

— Как видите, — доложил молоденький офицер, — мы подверглись сопротивлению. У меня есть ордер на арест господина Гориллиуса за убийство Роберта Ван Барро, Давида Дерви и за увечье Авраама Равинского. Но господин Гориллиус не захотел идти под арест и, как видите...

— Да, господа, вам не легко будет справиться с ним, и я бы советовала оставить его в покое...

— Да, мадам, но, мадам, конституция. Нельзя... он же убил, так что нам придется вернуться с удвоенным составом отряда.

И действительно, это было не пустой угрозой. Вскоре вернулся значительно больший отряд полиции. Наверху прогремели выстрелы. Но когда Элизабет вы-

бежала наверх, чтобы спасти своего господина Гориллиуса, ее опять чуть не сшибли с ног полицейские, которые вновь катились по уже знакомому наклонному пути.

— Что же делать, мадам? — сказал ей офицер. — Вы уж извините нас за беспокойство, но нам придется взять господина Гориллиуса приступом.

— Господа, — ответила Элизабет, — если уж совершенно необходимо арестовать его, то я уговорю его отдаться вам в руки добровольно, потому что он ничем не рискует: преступление его ничтожно. Так сказал сам министр внутренних дел фон Мамен. Эти господа сами вели себя вызывающе и оскорбительно отзывались о принципах господина Гориллиуса. А все трое бесполезные и нежизнеспособные интеллигенты. Но... одно условие: в его камере должна быть мягкая удобная постель. И один ключ от камеры должен быть вручен мне, так как я хочу лично проверить, в каких условиях он будет содержаться. Если вы не можете дать мне на это разрешение, то я сейчас же получу его от министра внутренних дел фон Мамена.

После этого Элизабет поднялась к Гориллиусу и сказала ему проникновенным голосом:

— Ну, горилльчик мой, ну не сердись, не надувай губок. Дай арестовать себя, и завтра ты будешь выпущен с таким почетом, какого еще не видел.

Гориллиус покорно спустился вниз и даже протянул свои лапы, чтобы на них надели ручные кандалы. Но кандалы не сошлись на слишком толстых запястьях, и без кандалов его посадили в автомобиль и увезли в тюрьму.

Когда автомобиль отходил от дома, из окон третьего этажа высунулось много рук. Ему махали цветами, бокалами и кричали:

— Не унывайте, господин Гориллиус! Вы скоро будете свободны. Вы жертва полиции, как и все политические вожди! Пока! Пока!

На следующий день во всех газетах появились сообщения об аресте господина Гориллиуса.

Крупнейшая газета, издававшаяся на средства господина Хруппа, вышла в этот день с передовой, озаглавленной: «Руки прочь от нашего господина Гориллиуса».

«Вся страна негодует! — начиналась передовая. — Вопиющее бесчинство допустила полиция, посадившая под арест вождя всех тех, кому надоело водиться с интеллигентами, мыслителями и другими марксистами, господина Гориллиуса. Господин Гориллиус — лучший представитель нашего поколения. Не мешало бы нашему правительству многому поучиться у господина Гориллиуса.

Дорогой господин Гориллиус! Выкинув в окно трех паршивых евреев (двое из них хотя и не евреи по крови, но евреи по духу), ты сделал общественно-полезное дело. Потому что ни для кого не секрет, что история Давида Дерви подстрекала рабочих к бунту. Симфонии Авраама Равинского делали рабочего таким самоуверенным, что он готов был пойти против своих хозяев, а картины Ван Барро нередко изображали революционеров разных эпох.

Нам не нужно никаких интеллигентов, потому что всякая интеллигентность является пособничеством марксизму. Бурчание живота нам дороже симфоний всех Равинских и Бетховенов. Наши собственные жены нам дороже мраморных венер.

Еще Фридрих Великий сказал: „Назад к обезьянам!“. Так станем же обезьянами, этими нашими бла-

городными праотцами, сворачивающими скулы всем и всяким своим врагам, ломающим хребты и черепа!

Надевайте коричневые рубашки цвета горилльей шерсти! Мы требуем немедленного освобождения Гориллиуса! Если вы не выпустите нашего вожака, то мы выпустим ваши кишки!»

Социал-демократическая газета освещала это событие несколько иначе. Она писала:

«Мир вашему праху, дорогие и незабвенные Роберт Ван Барро и Давид Дерви. Нет слов выразить нашу печаль. Но вы пострадали за свою несдержанность и за свой темперамент, потому что каждому понятно, что вы не должны были перечить уважаемому господину Гориллиусу, который не терпит споров. Что же, все великие люди несдержанны. Вы умерли благородной смертью, и история вас не забудет».

И только одна небольшая газета писала:

«На наших глазах сейчас происходит удивительная комедия, которая может превратиться в трагедию. Дикая горилла, попавшая в нашу страну, является орудием в руках тех, кому это выгодно. Дикая горилла проповедует необходимость возвращения к животному образу жизни. Массовый психоз начинает овладевать многими неустойчивыми людьми, запутавшимися в общественных противоречиях. Но рабочий класс и подлинная интеллигенция никогда не согласятся подражать диким зверям, а будут стремиться к расцвету человеческих способностей, культуры и искусства. Мы требуем от правительства, чтобы горилла, которая сейчас находится в тюрьме, была бы немедленно, без суда и следствия (так как нельзя зверя судить по человеческим законам), отправлена в зоологический сад и посажена в клетку. Такова воля всего народа, всего ра-

бочего класса, всех действительно передовых людей нашей страны».

Так или иначе, но все газеты писали о господине Гориллиусе. И в этот день его известность неизмеримо выросла.

В полдень на площадь перед тюрьмой вышла колонна демонстрантов. Впереди шли малютка Ганс и отчаянный Фриц. Они были одеты в коричневые рубашки, как и большинство идущих за ними. Среди демонстрантов в автомобиле ехала Элизабет Пиккеринг, также одетая в коричневое манто, сделанное из обезьяньего меха. Рядом с нею сидело еще несколько высокопоставленных дам и мужчин. Демонстранты были вооружены дубинками, палками и камнями. Над их головами колыхались плакаты и лозунги:

«Один палец гориллы стоит больше, чем все интеллигенты вместе».

«Долой человеческую культуру! Долой условности! Долой мысль! Станем гориллами!»

«Что хочу да что могу — то и делаю!»

«Выпустите нашего Гориллиуса, а не то мы выпустим ваши кишки».

Как только колонна демонстрантов два раза продефилировала мимо тюремных стен, с другой улицы приехал министр фон Мамен. Он робко постучал в камеру Гориллиуса и спросил:

— Разрешите войти?

— Входи, копыто жирафа..

— Здравствуйте, господин Гориллиус! Я должен вам принести извинения за причиненное беспокойство. Вы можете считать себя свободным. Присужденный с вас штраф в сумме двадцати пяти марок изволила уплатить госпожа Хрупп.

Услышав это, горилла оттолкнул фон Мамена и, прихрамывая, вышел из тюрьмы, провожаемый почтительными поклонами тюремщиков.

На площади он увидел толпу. В воздух полетели шапки.

— Да здравствует горилла! — орали коричневые люди. — Да здравствует господин Гориллиус, наш вожак и учитель!

Горилла был доволен. Он подумал: «Надо будет сказать Элизабетке, чтобы она дала телеграмму в Нижнюю Гвинею, пусть пошлют нарочного в долину Горячих Вод и доставят на пароходе в Европу все мое стадо и самого обезьяноподобного».

Между тем его сразу же окружили приближенные. Малютка Ганс, отчаянный Фриц и добродетельная Элизабет пожимали ему руки и обнимали его.

— Надо выступить! — сказал отчаянный Фриц. — Надо сказать речь.

— Ну и говори сам, длинноязыкая ящерица.

— Нет, надо, чтобы вы сами сказали речь, учитель... Видите — все ждут.

— Моя речь — это мои кулаки. Я могу ими расшибить все это стадо и проломить все черепа, а говорят пусть другие.

— Это все друзья ваши, и они хотят слушать ваш драгоценный рев.

Тогда горилла встал во весь рост на сиденье автомобиля и зарычал на всю площадь:

— Эй вы, людишки, чего собрались глазеть на меня, будто я черепаха. Вместо того чтобы болтать языком, шли бы вы развлечься и потрясти кулаками, а то как бы у вас кулаки не отсохли от бездействия. За мной, людишечки, за мной!

И он соскочил с автомобиля и скачками понесся через площадь, объятый жаждой бить, крошить, убивать, рвать...

— Сюда, сюда, — говорил ему малютка Ганс, — здесь живут рабочие моего папаши... Все они мечтают читать и учиться. Поучим-ка их, учитель...

Учителю было совершенно безразлично, кого бить. Сюда — так сюда...

Во главе большой коричневой толпы добежали они до района, который был населен рабочими и трудовой беднотой, и стали крошить окна домов и магазинов. Прохожие попрятались в подворотни, но их вытаскивали и били. Горилла хватал людей за ноги и разбивал им черепа о фонарные столбы.

За одним из углов большая толпа рабочих, вооружившись чем только можно и забаррикадировав улицу ящиками, кроватями, бочками, преградила погромщикам путь.

— Успокойтесь! — кричали из-за баррикад люди. — Придите в себя, безумцы! Посмотрите, на кого вы похожи! Вы действительно потеряли человеческий облик и стали похожи на своего вожака...

— Ууу... — ревели коричневые люди, — мы и есть гориллы. Бей, кроши, режь!..

Но люди оказались не трусами. И, несмотря на всю гориллью ярость, они не дали бы им продвинуться ни на один шаг дальше, если бы не отряд полиции, примчавшийся на автомобилях и мотоциклах из центра города...

— В чем тут дело? — заорал офицер, обращаясь к людям, стоящим за баррикадой. — Кто вам дал право нарушать правила уличного движения и закрывать дорогу для гуляющей публики?

Один из обороняющихся крикнул:

— Мы защищаем свои жизни, свои семьи, свои дома! Посмотрите на их разъяренные морды...

— При чем тут морды? — еще громче закричал офицер, — Они просто веселятся, а мы не допустим, чтобы всякие проходимцы мешали веселиться честным людям.

И с этими словами он отдал приказ стрелять по баррикаде.

На следующий день газеты, принадлежащие господину Хруппу, писали:

«Вчера вечером компания молодежи, во главе с господином Гориллиусом, гуляла по городу, когда на нее напала толпа марксистов и революционеров. Господин Гориллиус проявил себя как подлинный патриот. Памятуя, что лучшая защита — это наступление, он так проучил напавших на него большевиков, что если бы правительство поучилось у него, то был бы давно урегулирован рабочий вопрос и не было бы никаких революционных беспорядков».

Известность Гориллиуса росла буквально по часам. Самые светские дамы стали носить, по примеру Элизабет и госпожи Хрупп, манто из коричневого обезьяньего меха. Появилась модная прическа а-ля-горилль. Она заключалась в том, что волосы начесывались на лоб, чтобы лоб казался как можно меньше.

Самым модным цветом стал коричневый. Дамы носили туфельки, покрытые коричневой шерстью. Они назывались гориллетки. Мужчины стали носить манишки коричневого цвета, которые именовались гориллками.

В ресторанах, барах и пивных играли и напевали новый самый модный фокстрот «Мы гориллы! Мы гориллы!». Он начинался так:

Ах, мы гориллушки, ах, мы животные,
Мы не мудры, но так сильны!
Всегда мы яростны и беззаботные,
А наши самочки так милы!
Оставим книжки мы, сломаем скрипки мы
И будем слушать, как бурчит живот!
Потом мы с улыбками, потом с ужимками
Набьем продуктами свой жадный рот!
Ах, мы гориллушки, ах, мы животные,
Мы не мудры, но так, сильны!
Всегда мы яростны и беззаботные,
А наши самочки так милы!

Между тем Брюнхенский университет издал диссертацию отчаянного Фрица, благодаря которой он получил ученую степень доктора исторических наук. Диссертация эта была не длинной, вернее даже совсем короткой — на одну страничку. В ней отчаянный Фриц сообщал, что в результате длительных научных трудов ему удалось доподлинно установить, что еще задолго до Дарвина Фридрих Великий высказал мысль о родстве человека и обезьяны и призывал вернуться к обезьяньему существованию.

Вслед за этим сообщением было приведено заключение ученой комиссии. Это заключение гласило, что открытие молодого коллеги имеет колоссальное научное и политическое значение. Комиссия видит свидетельство особенно серьезного отношения и глубоко научного подхода молодого ученого к фактам в том обстоятельстве, что диссертант не нашел нужным ничего добавить и как-либо комментировать исторические слова Фридриха Великого, проявив в этом похвальную скромность. В силу всего вышеизложенного комиссия присуждает диссертанту докторскую сте-

пень, а также обращается в Академию с просьбой избрать молодого *ученого* в ряды бессмертных.

Вскоре после этого госпожа Хрупп, согласно желанию своего высокопоставленного супруга, пригласила Гориллиуса посетить их дом. После окончания парадного обеда господин Хрупп пригласил Гориллиуса в свой кабинет и, открыв перед ним ящик с сигарами, сказал:

— Ну, теперь мы с вами поговорим как мужчина с мужчиной. Я с большим вниманием слежу за вашей деятельностью, дорогой господин Гориллиус, и больше того, для вас не секрет, что я вас поддерживаю. В этом вы могли убедиться. Однако, мой дорогой, мне непонятна ваша цель. Собственно говоря, с кем же вы воюете и за что?

Горилла задумался. Цель? Действительно, какова его цель? И с кем же он, действительно, воюет?

— Воюю я, — ответил он наконец, — со всеми людьми.

— С людьми? Но это же наивно. Ведь люди такие разные. Вот я, например, человек. И мой рабочий тоже человек. Так разве же вам все равно кого убивать?

— А я того убиваю, кто меньше похож на гориллу, кто более голотелый, бессильный, кто вызывает мою ярость и мое гориллье презрение.

— Те-те-те, мой милый, да вы еще, как я вижу, совсем глупый. Вы в политэкономии ничегошеньки не разбираетесь. Ну, хорошо, я вас быстренько научу. Скажите мне, мой дорогой, чего вы, собственно, хотите от жизни?

— Опять старая песня, — недовольно ворчал горилла, не любивший разговоров вообще, а тем более на такие абстрактно-философские темы. — Я уже двадцать

раз говорил, что я хочу крови, чтоб зубы и когти мои не тупились, чтоб мускулы не обмякли. Затем я хочу...

— Одну секунду, батенька, не торопитесь. Так и запишем: первое — крови. Дальше. Второе?

— Пищи.

— Так, пищи. Третье?

— Самок.

— Пишем: третье самок. Дальше?

— Дальше? Дальше? Ну, вот и все. Больше мне от жизни ничего не надо.

— Прекрасно! — обрадовался господин Хрупп и даже привскочил с кресла, потирая руки. — Прекрасно, очаровательно, превосходно. Я вас берусь в избытке обеспечить кровью, пищей и самками. Хорошо? Больше того, я сделаю вас самым влиятельным лицом на свете. Пожалуйста! Но за это вы должны направить свою ярость против тех, на которых я укажу. Согласны? Еще бы, почему бы вам не согласиться! Не все ли вам равно, кого давить и грызть? Правда? А меня ваша программа вполне, вполне устраивает. Хотя вы и обезьяна, я вам откровенно скажу, что я не откажусь, чтобы на моем заводе работали обезьяны, а не люди. Никаких книг, которые обычно являются рассадником марксизма! Никаких образований, никаких требований! Восторг, ей-богу, восторг! Вот мы с вами и стали друзьями. Ха-ха! Господин Хрупп и господин Гориллиус! Неплохой союз. Это ничего, что вы обезьяна. Раз вы мне поможете приумножить мои прибыли, то вы можете быть хоть чортом, хоть дьяволом, это ваше личное дело. Короче говоря, выставляйте свою кандидатуру в члены правительства. Я ее поддержу, будьте покойны... Я не стану вам объяснять, что такое кандидатура и как ее выставлять. Предоставьте действовать мне и вашим человеческим друзьям. Итак, я вас боль-

ше не задерживаю, мой дорогой, у меня, знаете ли, дела...

И он быстро пожал своей пухлой ручкой мохнатую лапу гориллы и бросился к телефонам, отдавая разнообразные распоряжения своим банкам, рудникам, заводам.

Вернувшись домой, Гориллиус встретил очень обеспокоенную Элизабет.

— В чем дело, Элизабетка?

— Дело плохо, мой горилльчик. Я получила радиограмму: твое стадо, а с ним и мой муж завтра прибывают сюда.

— Ну и что же?

— Но он мой муж.

— Ну и в чем же дело?

— Но я должна быть ему верна. Ах, и кто теперь будет выискивать у тебя по вечерам насекомых, и кто будет теперь расчесывать твою коричневую шерстку?

— Ты, — ответил Гориллиус. — Еще не было в моем стаде такого самца, который отбил бы у меня самку. Я раскрошу ему череп и вырву ноги из их основания, если только этот беложивотый пингвин посмеет к тебе хоть прикоснуться.

Однако Элизабет не повеселела.

— Но и ты меня наверно разлюбишь. Ведь приедут твои старые самки.

— Дура! — сурово ответил горилла. — Если бы даже у меня было и сто самок, я никогда не отказался бы от сто первой.

В день приезда горилльего стада все приверженцы Гориллиуса были взволнованы и празднично настроены. К порту направилась большая колонна гориллоподобных, одетых в коричневые рубашки. Впереди ко-

лонны в автомобилях ехали господин Гориллиус, Элизабет и многие официальные лица города.

Когда пароход подошел к причалу, сводный государственный оркестр, по взмаху дирижерской палочки, заиграл фокстрот «Мы гориллы! Мы гориллы!». Но Гориллиус подошел к дирижеру и одним взмахом швырнул его в воду. За ним полетели еще несколько скрипачей, трубачей и кларнетистов, вместе со своими инструментами.

— К чорту музыку! — проревел Гориллиус. — Лучше заведемте наш гориллий рев.

И он вскочил на сиденье автомобиля и стал бить себя в грудь и реветь, как, бывало, ревел он в долине Горячих Вод. И гориллы, услышав его рев, ответили ему с палубы парохода могучим, яростным и страшным хором.

Малютка Ганс и отчаянный доктор Фриц тоже хотели реветь по-горилльи, но их голосовые связки были мало к этому приспособлены. Поэтому Ганс визжал голосом, скорее напоминающим поросячий визг, чем рев гориллы, а отчаянный доктор Фриц просто пританцовывал и колотил себя в грудь. А кругом стояла такая какофония, что если бы Авраам Равинский не умер от увечий после своего падения на площадь, то он умер бы сейчас, потому что не смогло бы ухо музыканта вынести такой какофонии.

Доктор Пиккеринг, услышав этот вой, подумал:

— Ну, пусть их повоют в последний раз, по крайней мере я-то уж больше никогда не услышу этого мерзкого рева.

Через одну минуту я опять буду в Европе, среди людей, опять возьму в руки свои книги, услышу музыку, человеческий голос.

Он вышел на палубу и увидел большую толпу встречающих. Он не сомневался, что это встречают его, и слезы умиления и любви к родине выступили на его глазах. Он хотел первым сойти по трапу, но гориллы оттеснили его. Они прошли вперед, и их встречали букетами цветов.

«Уж не горилл ли встречает вся эта толпа людей?» — подумал Пиккеринг и усмехнулся: настолько эта мысль была нелепой. Он последним сошел на родную землю. Он упал на колени и поцеловал асфальт своей родины. Потом поднялся и громко сказал так, чтобы слышали его все:

— Вот и окончились мои ужасные испытания. Люди, как я счастлив быть среди вас! Как счастлив видеть я человеческие лица! Только прожив год среди зверей, среди этих мерзких кровожадных горилл, можно воистину оценить, какое неизмеримое счастье быть человеком. Человек — это звучит так гордо, так...

Но он не сумел досказать свою мысль. Шляпа, которую он держал в руках, покатилась на землю. Он увидел перед собой заросшее рыжей щетиной лицо малютки Ганса и его рубашку цвета горилльей шерсти. Горилльим приемом — ударом кулака в живот — малютка Ганс сбил с ног доктора Пиккеринга.

— Жалкий человечишко, хвост черепахи, желудок лягушки! — рычал малютка Ганс. — Как ты смеешь гордиться тем, что ты жалкий человечек, когда мы гордимся, что стали гориллами!

— О, мой бог! — проговорил доктор Пиккеринг, стоя опять на коленях и закрыв лицо руками.

— Не бейте его, — сказал чей-то женский голос, — не бейте его, он еще не пришел в себя после переезда.

— Это ты, моя дорогая, Элизабет? — узнал ее по голосу Пиккеринг.

— Да, это я, бывшая твоя самочка.

— Что? — переспросил доктор, думая, что он ослышался, и содрогаясь от ужаса..

— Она теперь уж не твоя самка, печень лягушки, а моя самка, — прорычал над ним грубый голос, в котором он узнал голос хромого вожака стада. — Отойди от него, Элизабетка, а не то я проломлю череп и тебе и ему. Ну, открой глаза, старый попугай. Посмотри на меня, Хромого. Посмотри, какое теперь у меня стало стадо. Взгляни...

Доктор открыл глаза и увидел, что Хромой одной рукой прижимает к себе Элизабет, а другой указывает на тысячную толпу людей, одетых в коричневые рубашки.

И ему стало страшно, бедному доктору Пиккерингу.

— Люди! — воскликнул он. — Моя Элизабет! Люди мои! Очнитесь! Очнитесь! Ужели этот непристойный, вонючий, кровожадный зверь стал вашим вождем? Ужели вы хотите променять свое человеческое достоинство на это скотство? Ужели...

Но он опять не договорил. Лохматая хромая нога господина Гориллиуса с силой стукнула его по подбородку. Удар был так силен, что доктор несколько раз перевернулся в воздухе и шлепнулся в густую от бензина, грязи и отбросов портовую воду. И таким свойством обладает эта вода, что даже круги на ней не расходятся, когда падает в нее человеческое тело.

На этом кончается история жизни доктора Пиккеринга и начинается другая история, которая, собственно говоря, и составляет предмет моего описания.

Глава пятая.
ПЕРЕВОРОТ

Прошло совсем немного времени после смерти доктора Пиккеринга, и господин Гориллиус стал самой популярной личностью в этой удивительной стране. Тысячи людей были охвачены буквально каким-то психозом преклонения перед гориллами и подражания им. Впрочем, это легко объяснить. У всех еще свежи были в памяти расправы с Робертом Ван Барро, Давидом Дерви, Авраамом Равинским, доктором Пиккерингом и многими другими. Таким образом, каждый, кому была дорога своя шкура, предпочитал не только преклоняться перед обезьяньей шкурой, но и самому переменить свою шкуру на обезьянью. Трудно приходилось тем людям, которые не хотели перенимать обезьяньи нравы. В стране стал царить произвол. Гориллам ничего не стоило изнасиловать проходящую мимо женщину, убить человека только за то, что он человек, разграбить магазин. И, чтобы сохранить свою жизнь, люди вынуждены были приноравливаться к этим горилльим нравам, дабы не быть слабейшими.

Элизабет не слишком огорчилась трагической смертью своего супруга. Новые заботы отвлекали ее от мыслей о нем. Предстояло торжественное открытие созданного ею пансиона для воспитания человеческих юношей в горилльем духе.

Гориллоподобным юношам она предоставила помещение, раньше занятое благородными фокстерьерами, Маленькие благородные фокстерьеры уступили место мальчикам, чья наружность, поведение и склон-

ности были наименее человеческими и наиболее звериными.

Директрисой пансиона была сама Элизабет. Ученым секретарем и старшим воспитателем был приглашен самец из стада Хромого, по прозвищу Шерстобедрый. Это был старый и свирепый самец, который учил мальчиков хорошему горилльему тону: как вспрыгнуть на спину животного или человека, как бить в живот, как прокусывать шею, как ломать конечности. Он учил юношей также ходить на четвереньках, лазать по деревьям, бить себя кулаками в грудь и реветь, как ревут гориллы. Естественно, что ни грамоте, ни другим человеческим наукам мальчиков не обучали.

На торжественное открытие приехал сам господин Гориллиус. Он был все такой же и нисколько не изменился. Слава не вскружила ему головы. Голова его не была обременена заботами и политикой. Думали за него другие. Он лишь оставался вожаком своего неизмеримо выросшего стада. А это дело было для него привычным.

Он приехал в сопровождении своих приближенных: настоящих горилл из нижнегвинейского стада и лжегорилл, вроде малютки Ганса и отчаянного доктора Фрица. Гориллиус выступил, окруженный своими друзьями и телохранителями, перед выстроившимися юношами, которые стояли ровными рядами на четвереньках.

— Детеныши, — сказал господин Гориллиус, — человеческие детеныши! Вас здесь научат всему, что нужно знать молодым гориллам. Ну, конечно, полностью вы, жалкие киви-киви, не сможете уподобиться горилленышам, но в меру сил своих и способностей старайтесь забыть все человеческое, учитесь прыгать,

бить, давить, кусать, кромсать... За каждую провинность вы будете получать затрещину. Ясно?

Вместо всяких там песенок, сказочек и стишков, которым учили вас ваши жалкие родители, запомните и выучите одну песню:

Наши маленькие детеныши, скорее начинайте убивать.
И тогда вы будете достойны называться гориллами
И сможете выбрать себе самку по вкусу
И забавляться с нею, когда хотите.

И все хором подхватили этот рев, ибо, когда ревет вожак, его должно поддержать все стадо. Господин Гориллиус с приближенными уехал, а юноши остались со своими обезьяньими надзирателями, чтобы успешно забывать свое человеческое происхождение и превращаться в диких зверенышей.

Особняк Элизабет Пиккеринг сделался штаб-квартирой горилл. Надо сказать, что этот особняк вскоре превратился чуть ли не в центр столицы. Зная, что Гориллиуса поддерживает сам господин Хрупп, сюда нередко приезжали самые знатные горожане и многие министры из тех, для которых лишиться благосклонности господина Хруппа означало лишиться жалованья и наградных.

Гостей принимала обычно сама Элизабет. Гориллиус бывал в своей штаб-квартире не так уж часто. Большую часть времени он проводил с малюткой Гансом и отчаянным Фрицем в барах за коньяком и пивом или на рабочих окраинах в побоищах с людьми.

Ганс и Фриц сами стали похожи на горилл и очень этим гордились. Они перестали мыться, бриться, чесаться. Заросли жесткими и длинными волосами, в ко-

торых, естественно, завелись насекомые, совсем как у господина Гориллиуса. Одеты они были во все коричневое и преимущественно мохнатое. Волосы начесывали на лоб, чтобы лоб казался меньше. Изменилась и их походка. Подражая гориллам, они стали ходить сутулясь, размахивая спущенными книзу руками, иногда они становились на четвереньки и рычали совсем как их учитель.

Приблизительно так же выглядели и другие последователи Гориллиуса. Они так старались быть похожими на горилл, что многие из них перещеголяли настоящих зверей и в отношении непристойности, и в отношении кровожадности, и в отношении уродства.

Через несколько дней после торжественного открытия пансиона в голубой гостиной Элизабет состоялось небольшое совещание. Гориллиус упорно отказывался тратить время на совещания. Но Ганс и Фриц убедили его, что это совершенно необходимо. Тогда он согласился прийти, лег на ковер и заставил Элизабет и еще одну самку — подлинную гориллу — искать у него насекомых. Элизабет взяла свой черепаховый лорнет и уселась около своей соперницы. Пока они выискивали у него насекомых, он потягивал коньяк и дремал, совершенно не интересуясь разговором.

— Какая сумма нужна вам на предвыборную агитацию? — спрашивал господин Хрупп.

Отчаянный Фриц назвал сумму.

— Не выйдет, скиньте половину.

Фриц скинул треть.

— Пишите расписку и получайте вексель... Итак, мы выставляем его кандидатуру. Но какая политическая программа?

— Ее все знают.

— Но все-таки?

— Хорошо, я скажу. Чтобы всем жилось хорошо, надо искоренить всех марксистов, в число которых входят все люди, любящие мыслить. Следовательно, первый пункт программы: бей и режь всех тех, кто хочет остаться человеком и не хочет превратиться в гориллу. Второй пункт программы: на пути к всеобщему счастью находятся только люди, радующиеся тому, что они люди. Следовательно, второй пункт нашей программы можно сформулировать так: бей и режь всех тех, кто хочет остаться человеком и не хочет превратиться в гориллу.

— Но так же сформулирован и первый пункт, — напомнил Ганс.

— Тем лучше, значит в нашей программе вообще всего один пункт.

— Коротко, а потому блестяще, — одобрил господин Хрупп.

— Итак, выборы уже назначены. Завтра же с утра мы начинаем нашу предвыборную агитацию... Вы не возражаете, господин учитель?

Учитель храпел, нежась и почесываясь.

— Нет, он возражать не будет, — уверенно сказал малютка Ганс. — Все будет в порядке. Да здравствует господин Гориллиус! Да здравствует наш вожак! Да здравствует наш учитель!... — прокричал он, но Гориллиус даже не проснулся.

Ему снилось, что его окружают джунгли. Он мчится с дерева на дерево к водопою, и за ним мчатся его самка и его детеныши. Но вот он слышит шорох и видит антилопу. Ноздри его расширяются, он бросается на нее сверху и... ах, как чудесно хрустят ее кости... И когда он раскрыл глаза и увидел пестрый ковер, камин и Элизабет, все показалось ему противным. Ему захоте-

лось в джунгли, в лесную чащу. Он понял, что горилла не рожден, чтобы жить в городе. Ему не нужны ни ковры, ни камины, ни черепаховые лорнеты. И он решил — надо или уйти обратно в тропический лес или... превратить эти обжитые человеческие места в джунгли.

Партия последователей Гориллиуса развернула предвыборную агитацию. Двери знакомого нам бара раскрылись. Пошатываясь от выпитого коньяка, вошел господин Гориллиус со своими двумя друзьями. Их сопровождали обезьяны из нижнегвинейского стада. Все столики уже были заняты коричневыми людьми. Коричневых было много, так много, что мест за столиками не хватило и некоторые сидели на стойке, на бочках, а многие — прямо на полу. Только один столик был оставлен незанятым для господина Гориллиуса. Вошедшие уселись за него, налили по кружке. Отчаянный Фриц, взяв в руки кружку, встал и сказал:

— Обезьяноподобные! Совершаются исторические минуты. Или наш учитель должен стать членом правительства, или мы разгромим всю эту нашу проклятую родину. Обезьяноподобные! В наших жилах струится обезьянья кровь. У нас обезьяньи повадки и обезьяньи страсти. Доколе ж мы будем терпеть власть голотелых людишек? — И он с силой бросил на пол опорожненную кружку и стал колотить себя кулаками в грудь, чтобы вызвать ярость окружающих.

Тогда все стали просить выступить Гориллиуса. Он долго не соглашался, но его уговорили, и он сказал очень короткую речь:

— Ах, как приятно проломить кому-нибудь череп! Хох-хох-хох! — закончил он свою речь нечленораздельным рыком, и всем присутствовавшим это так понравилось, что все хором повторили: — Ах, как прият-

но проломить кому-нибудь череп! Хох-хох-хох!. — и, придя в ярость, бросились на улицу искать, кому бы проломить череп.

Толпой бежали они по темным ночным улицам и каждого встречного оглушали вопросом: человек или горилла? И если человек осмеливался признаться, что он человек, то оставался лежать с проломленным черепом. «Хох-хох-хох...» — дубинки и камни летели в зеркальные стекла витрин, и звон стоял над улицей.

Они вбежали на площадь, где стоял старинный музей, который являлся государственной сокровищницей замечательных произведений искусства. Через все окна и двери полезли в старинные расписанные залы гориллы и гориллоподобные коричневые люди. Прекрасные мраморные изваяния выбрасывались на улицу, топтались ногами, перекидывались от стены к стене, как камни. Гориллы срывали со стен старинные картины и рвали в клочья полотна, терзали их зубами, резали ножами, раздирали когтями и пальцами, будто желая отомстить им за всю их красоту, за всю их человечность, за всю их магическую силу.

И когда в музее остались только голые стены, которые не были сломаны только потому, что сломать их было не под силу даже разъяренным гориллам, толпа зверей бросилась через площадь к библиотеке. Как стая белых птиц заметались над площадью книжные листы. Вместе с полками, выломанными из шкафов, летели на землю толстые фолианты, свитки папирусов, тонкие брошюры, мелко исписанные рукописи.

Кто-то облил их керосином, и посреди площади вспыхнул громадный костер, осветивший своим зловещим пламенем готические строения, с пустыми выбитыми окнами, с выломанными дверями, похожие на страшные черные черепа.

А в центре площади, вокруг костра, в котором корчились и обугливались бессмертные творения лучших мыслителей человечества, плясали коричневые люди, колотя себя в грудь и напевая модный фокстрот:

Оставим книжки мы, сломаем скрипки мы
И будем слушать, как бурчит живот!
Потом с ужимками, потом с улыбками
Набьем продуктами свой жадный рот!

Под утро на площадь явилась полиция. Офицер был, видимо, предупрежден, что здесь происходит предвыборная агитация. Составляя протокол, он обратился к гориллам с вопросом:

— Вы, конечно, были свидетелями, что музей и библиотека разграблены марксистами, желающими вызвать предвыборные беспорядки?

— Конечно!

— Так вам, господа, придется это подтвердить в качестве свидетелей на суде. Уж извините, ради бога, за беспокойство!

— Что вы! что вы! Ради интересов родины, мы всегда готовы! — отвечал доктор Фриц.

Но офицер наклонился к самому лицу Фрица и совершенно конфиденциально ему сказал:

— Только зачем вот вы, господа, на площади костер разожгли? Я понимаю, конечно, ночь сегодня прохладная, но, вы уж простите меня, я обязан вас оштрафовать на пять марок за несоблюдение противопожарных правил.

И вот господин Гориллиус стал членом верховного правительства. Его последователи неистовствовали от восторга. Вечером была устроена грандиозная, почти общегосударственная попойка.

Отчаянный Фриц составил текст радиопередачи, которую передали все радиостанции от имени нового члена правительства:

«Так как, став членом правительства, я шутить не стану, то сегодняшний день пусть является праздником для всех горилл и гориллоподобных. Поэтому нам, гориллам и гориллоподобным, надо веселиться. А всем людям надо сегодня печалиться. Так что пусть все те, кто будет сегодня веселиться, отберут все вино от тех, кто будет сегодня печалиться. Сегодня наш праздник, гориллушки! Это говорю вам я, ваш вожак, ваш учитель, ваш господин Гориллиус!»

Это обращение очень многим понравилось. В этот вечер были разграблены все магазины, пивные, рестораны и квартиры тех, кто не хотел примириться с горилльей властью. Вино лилось рекой. Казалось, половина города утопает в вине. А другая половина в крови. И трудно сказать, чего в эту ночь было больше пролито на землю напрасно: вина или крови.

Первое заседание нового состава правительства собралось к концу дня в громадном историческом зале. В этом зале в течение нескольких веков творилась история этой страны. Здесь подписывались мирные договоры, объявления войн, смертные приговоры и помилования. В течение многих столетий этот зал был как бы святилищем высокой политики. Здесь сидели цари и величайшие полководцы. Вдоль стен зала стояли белые гипсовые бюсты величайших людей страны.

Когда Гориллиус вошел в зал, ему не понравились эти бюсты, свидетельствующие о славной истории человечества, о богатом прошлом людей. Он пошел вдоль стены к трибуне. Проходя мимо бюста величайшего императора этой страны, он как бы случайно за-

дел его плечом, и бюст упал на пол и рассыпался белой пылью. В невольном страхе все ахнули.

— Плохой это признак, — прошамкал один член правительства другому, — не хочет благословенный Карл видеть наше сегодняшнее заседание.

Между тем господин Гориллиус, подойдя к следующему бюсту — это был величайший национальный поэт, — сковырнул и его. И опять грохот. И опять общий вздох и единодушное «ах» пронеслись по залу.

А Гориллиус шел дальше, неуклюже размахивая своими длинными лапами. Вслед за императором и величайшим поэтом был повержен на пол и разбит вдребезги величайший полководец. Его участь разделил и величайший философ.

Своротив еще четыре бюста, господин Гориллиус добрался до своего места и сел, окруженный своими обезьяньими и обезьяноподобными телохранителями.

Первым взял слово министр внутренних дел господин фон Мамен.

— Господа, — начал он читать по бумажке речь, к которой долго готовился. — Господа! Мы открываем первое заседание нашего правительства в его новом составе в дни, каких еще никогда не было в нашей стране. Никогда еще, господа, наша страна не знала такого порядка и покоя, как в нынешнее время. Вы все знаете, господа, что наша мудрая политика, заключающаяся в том, чтобы никому не перечить и ни во что не вмешиваться, привела к своим блестящим результатам. В результате нашей мудрой политики народ сам кое-как разобрался во всех делах и сам, своими силами, разрешил все конфликты. Все стали жить мирно и дружно, искренне желая сбросить все лишнее, чем наделила нас многовековая история человечества, и заимствовав все лучшее от наших дорогих и глубоко

уважаемых предков обезьян.

«Я лично, господа, не полностью разделяю убеждения господина Гориллиуса. Я, например, считаю, что даже если в моих жилах течет и не только обезьянья кровь, то я все-таки имею некоторое право на существование... Однако такие абсолютно теоретические расхождения не мешают мне видеть, что господин Гориллиус и его уважаемые последователи делают чрезвычайно полезное дело тем, что борются с марксистами и всякими людьми, которые слишком много думают, потому что наукой установлено, что чрезмерное увлечение мыслью и размышлениями подрывает устои государственности. Поэтому, господа, разрешите от имени членов правительства прежнего состава выразить горячее приветствие и радушное „добро пожаловать“ нашему дорогому господину Гориллиусу, который стал нашим дорогим и многоуважаемым коллегой».

Вслед за ним волей-неволей пришлось выступить господину Гориллиусу. Он начал свою речь со ссылки на предыдущего оратора.

— Хотя предыдущий оратор, министр фон Мамен, и лебезил передо мной, как муха перед аллигатором, но все-таки я должен сказать тебе, старая медуза, и вам, черепашьи дети, что я был гориллой, гориллой остался и всегда буду гориллой. И сколько бы вы ни лебезили передо мной, но я буду стараться, чтобы таких вот, как вы, людишек не осталось на земном шаре. И вообще мне совсем не нужны никакие там правительства, дворцы и столицы. Я хочу жить в джунглях, вы слышите меня, жалкие тапиры? Я хочу прыгать с ветки на ветку, бегать на водопой, и вообще вы ни черта не поймете, потому что вы не гориллы, а вонючие струпья на хвосте носорога. Вот что я вам скажу, а кому это

не нравится, может убираться, пока мы ему не проломили череп.

С правой стороны, где сидели гориллы и гориллоподобные, слышалось довольное урчание. Элизабет оборачивалась во все стороны, подхватывая каждое слово Гориллиуса:

— Ах, он сказал «сучьи дети», ах, он ведь прав — зачем нам правительства, дворцы и столицы? К чему? Как хорошо было бы жить в джунглях! Ах!..

На скамьях левых поднялся было шум, но господин Гориллиус быстро откинул ногой свое кресло и прыжком бросился к шумевшему. За ним бросились его приближенные и телохранители из нижнегвинейского стада.

И весь зал поднялся на ноги.

В каких-нибудь несколько минут шумевшие были перебиты. Затем была устроена поименная перекличка присутствующих, и те, которые, по словам Гориллиуса, даже вопреки своему желанию не могли стать гориллами, были выгнаны из зала и заперты в тюрьмы. В историческом зале остались только одни гориллы и гориллоподобные. Зал приобрел рыжевато-коричневый оттенок. Все оставшиеся поднялись с мест и завели свой страшный, яростный рев:

Нам ничего не нужно,
Кроме крови тех, кого мы не любим,
А не любим мы никого и ничего,
Кроме вкусных плодов
И наших самок.

Переворот совершился, друг читатель.

Когда гориллы остались одни, малютка Ганс подошел и обнял Гориллиуса.

— Ну, учитель, теперь ты стал вожаком такого стада, которое тебе и не снилось. Ты теперь вожак целой страны, и надо тебе начинать писать декреты.

В это время за толстыми стенами дворца шли грабежи, погромы, убийства... Всякому хотелось поживиться за чужой счет, свести личные счеты, отомстить, захватить, отравить, — тем самым доказывая свою принадлежность к гориллам.

Первый декрет гласил:

«С сегодняшнего числа объявляю себя вожаком всего стада, с правом чинить без суда и следствия расправу со всеми людьми. Единственным средством наказания за всякие проявления человечности является растерзание с проломлением черепа.

Поручаю Гансу вести дела с заграницей.

Поручаю доктору Фрицу следить за тем, чтобы нигде и ни под каким видом никто не проявлял бы человечности.

Элизабет Пиккеринг объявляю верховной, неприкосновенной ни для кого самкой и вменяю в ее обязанность ежедневно в послеобеденное и предполуночное время выискивать в моей шерсти насекомых, за что ей государство ежемесячно выплачивает жалованье в размере жалованья бывших министров.

Гориллы из нижнегвинейского стада частично назначаются моей личной охраной, а частично из них составляется батальон ударной ярости, который должен служить примером для всей моей гориллоподобной армии.

К сему приложил лапу вожак и верховный горилла,
господин Гориллиус (Хромой)».

Второй декрет сообщал:

«Только гориллья кровь благословенна. Правом занятия государственных должностей обладают лишь те из людей, которые не умеют читать и писать, не имеют никаких талантов, в чьих жилах течет не меньше 85 процентов обезьяньей крови. Для определения процента содержания обезьяньей крови будет выработана особая инструкция.

Лица с содержанием обезьяньей крови ниже 50 процентов, к которым относятся все люди, занимающиеся умственным трудом, кастрируются. Лица же с содержанием обезьяньей крови ниже 30 процентов, к которым относятся все люди, обладающие какими-либо человеческими талантами — физически уничтожаются посредством растерзания с проломлением черепа».

Третьим был подписан декрет о переустройстве страны. Он начинался так:

«Подлежат немедленному уничтожению все города, университеты, театры, школы, кинотеатры, издательства и прочие человеческие учреждения. Подлежат немедленному уничтожению все создания человеческих рук, кроме тех, которые служат для войны и нападения.

Объявляется план скорейшего превращения нашей страны в дикие и девственные джунгли. Согласно этому плану, наряду с разрушением городов проводятся грандиозные работы по заболачиванию местностей и насаждению деревьев, трав и кустов. В целях населения джунглей дикими зверями — приказываю раскрыть клетки всех зоологических садов

и выпустить на волю всех содержащихся в них диких зверей.

В целях улучшения человеческой породы и наибольшего приближения ее к зверям — приказываю: раскрыть двери всех тюрем для уголовников и выпустить на волю приговоренных за убийства, грабежи, насилия, растление малолетних, кровосмешение и проч. и проч.

Я призываю горилл к тому, чтобы в кратчайший срок полностью превратить нашу страну в джунгли — это является планом-минимум. Наш план-максимум — превратить в джунгли все захваченные людишками земли».

Декреты были опубликованы и с большим энтузиазмом встречены всеми гориллами и гориллоподобными.

Все, еще чувствовавшие себя людьми, были брошены в тюрьмы и в особые лагеря или убиты. Наиболее трусливые молчали о том, что они еще чувствуют себя людьми, и старались хоть внешне напоминать горилл. Кто хотел почитать книгу, уцелевшую от обыска и уничтожения, — делал это тайком, поздно ночью, занавешивая окна. Кто хотел послушать музыку или поиграть на скрипке — уходил далеко в лес, и только убедившись, что поблизости никого нет, тихо водил смычком по струнам. А некоторые играли в кровати, под одеялом. Стоило звукам музыки достигнуть чьего-нибудь слуха, как музыканту грозило растерзание.

Горилльи власти запрещали людям любить друг друга, произносить речи, думать, учить детей чему-нибудь иному, кроме приемов борьбы. О чтении и письме и говорить не приходится. Эти проступки карались как государственное преступление.

Специальные комиссии определяли процент обезьяньей крови, текущей в жилах каждого человека. Элизабет Пиккеринг, например, удалось доказать, что еще ее дедушка страдал кретинизмом, а отец был даже неспособен окончить школу. Так же, как Элизабет, и все другие последователи горилл искали в своих предках признаки зверств и дегенеративности.

День, когда новые декреты вступили в силу, был последним днем человеческого прогресса и первым днем превращения цивилизованных стран в джунгли.

Рано утром был разрушен старинный собор, представлявший собой замечательный памятник древней архитектуры и хранилище старинных высокохудожественных фресок. Две бомбы, сброшенные с самолета, разрушили здание до фундамента.

Самолеты полетели дальше. Восторженными криками приветствовала толпа гориллоподобных разрушение консерватории. Как только одна стена здания обрушилась под действием сброшенной бомбы, в то время как туча пыли и дыма вырвалась из расколотого здания наружу, — внутрь, на развалины, бросилась туча коричневых людей и стала доламывать то, что еще уцелело.

Пока шло разрушение города, громадная толпа горилл и гориллоподобных собралась в зоологическом саду. Ровно в полдень к воротам зверинца подъехала вереница автомобилей. Из первой машины вышел господин Гориллиус с Элизабет, малюткой Гансом и отчаянным Фрицем. Они прошли мимо клеток и взобрались на трибуну, специально приготовленную для торжества. Затем Гориллиус, который уже начал несколько привыкать к произнесению речей, коротко, но выразительно прорычал:

— Звери! Кончилась власть людей! Вы свободны!

Людей вам больше бояться нечего. Пусть теперь люди боятся вас. Но остерегайтесь горилл! Вы видите, что гориллы покорили людей. Это значит, что мы являемся самыми сильными, грозными и яростными зверями на свете.

И с этими словами он дал знак прислужникам раскрывать клетки. Все люди разбежались кто куда. Не составили исключения и Элизабет с Гансом и Фрицем. Они забрались в одну из пустых клеток с табличкой «Макаки» и следили оттуда, из-за железных прутьев, за тем, как звери воспримут неожиданную свободу.

Звери же, завидев, что клетки их открыты, сначала недоверчиво прижались к прутьям, потом выскочили, и сразу же тигр остановился, изогнув спину и грозно зарычав. Лев приготовился к прыжку. Но и гориллы не зевали. Они столпились вокруг Гориллиуса, и тот прорычал:

— Будет дело, будет забава. Эй, гориллушки, обезьянушки, не подкачайте!

Затем он издал грозное воинственное рычание. С яростным ревом гориллы напали на диких зверей, и звери, после долгой неволи утратив свою былую ловкость, силу, находчивость, не смогли выдержать этой яростной битвы и в страхе разбежались, поджав хвосты, как простые собачонки или котята.

Несколько дней после этого в самых неожиданных местах люди встречали то тигра, то медведя. Столица еще не успела сравняться с землей. И странно было видеть, как по проспекту через трамвайные пути шествовал неуклюжий медведь. У одной бедной женщины, жившей на втором этаже, жирафа стащила из открытого окна ее скромный ужин. Ночью то здесь, то там раздавался звериный рык и слышались предсмертные вопли людей.

Эти ночи были очень страшными. Люди боялись выходить из дому. Город был погружен в темноту. В темноте бродили по остаткам улиц дикие звери, выпущенные из зоологического сада, да бандиты, убийцы, насильники, выпущенные из тюрем В воздухе пахло дымом. Отблески пожаров озаряли небо.

На этом кончается история завоевания господином Гориллиусом власти и начинается другая история, которая, собственно говоря, и составляет предмет моего описания.

Глава шестая.
ДЖУНГЛИ

На всех биржах мира была паника. Рынки сбыта катастрофически сокращались. Акции целого ряда предприятий катастрофически падали. Зато росли акции военно-промышленных предприятий.

Бумаги предприятий господина Хруппа стали чуть ли не самыми ценными. На них наживались, создавая миллионные капиталы.

Паника охватывала страну за страной, континент за континентом. Паника охватывала города и села. Возникали легенды о коричневой чуме, которая воцарилась в одном из наиболее культурных государств и распространяется во все стороны.

Из страны, которая стала называться Центральными Джунглями, за границу поступали лишь самые скудные сведения.

Большинство иностранных корреспондентов не пожелали отказаться от своих человеческих предков и традиций и были изгнаны из страны. Все местные жители, умеющие хорошо писать, были сочтены непригодными для проживания в джунглях и также подверглись гонению: изгнанию — в лучшем случае, растерзанию — в худшем.

Остались в стране только такие журналисты, которые надели коричневые рубашки. Но эти существа, согласно горилльим законам, усиленно старались разучиться читать и писать.

Короче говоря, писать за границу о положении в джунглях было почти некому. Поэтому за границу

проникали лишь небольшие и сухо изложенные заметки, такого, примерно, содержания:

«В долине бывшей Манбургской провинции закончено разрушение трех небольших городов, тридцати двух сел и шести больниц. Сейчас в этой долине из восемнадцати городов остался только один, который подвергнется разрушению в ближайшие дни».

«Гориллоподобный, бывший господин Грохт, изобрел новый способ разбивания головы камнем. Способ этот заключается в том, что нападающий подбегает вплотную к своей жертве и не бросает камень, а просто ударяет камнем по ее голове».

«Сегодня на холме бывшего города Мейнц на Гарне закончено разрушение последнего здания — городского морга. Больше город не существует... На месте бывшего города бродят дикие звери и озверевшие люди».

Надо признаться, что эти лаконичные заметки в основном довольно верно передавали суть жизни в джунглях. Один за другим разрушались города, страна покрывалась густыми, труднопроходимыми лесами, которых никто не вырубал, не расчищал и не культивировал. На месте прежних городов отдельными стадами и стаями жили гориллы и гориллоподобные, устраивая себе логова на ветвях деревьев, питаясь плодами и свежим мясом задранных жертв.

Отдельными островками среди необъятного океана леса были сильно укрепленные форты. Эти форты занимали большую площадь и были обнесены высокими стенами. Между стенами помещались крупные военные заводы, аэродромы, танкодромы, газоубежища, подземные жилища для людей, которые, не желая стать гориллами, целый день обязаны были работать у

станков и машин на заводах, а ночь проводили в подземных тюремных камерах. Не было в фортах только казарм для солдат. И само понятие «солдат» в понимании горилл несколько отличалось от людского понимания.

В Джунглях каждый самец был солдатом. Единственной обязанностью каждого гориллы было — по первому требованию вожака выступить со своим стадом туда, куда ему прикажут. Весь день горилл проводил в охоте на другие живые существа. И эта охота считалась делом государственной важности, так как являлась непрерывным военным обучением и военной подготовкой всего горилльего стада.

Эта особенность расценивалась гориллами как наивысшее достижение внутренней политики и военного мастерства. В любой момент Джунгли могли выставить такую армию, численность которой равнялась всему наличному мужскому составу населения Джунглей.

Господин Гориллиус вместе с верховной самкой, бывшей Элизабет Пиккеринг, и своими ближайшими помощниками — бывшим малюткой Гансом и бывшим отчаянным Фрицем — жили в густой роще, рядом с громадным фортом, в котором помещались крупнейшие военные базы, несколько военных заводов Хруппа и громадное количество самолетов, танков, пушек с обслуживающими эти виды оружия гориллоподобными.

Квартира Гориллиуса и Элизабет помещалась на разветвлении толстой ветки старого дуба. Над веткой был сделан навес из сучьев и хвороста. Правда, Элизабет сумела украсить со свойственным ей изяществом и этот девственный уголок природы. Она умолила Го-

риллиуса разрешить ей сохранить из своей прежней обстановки наиболее ценные для нее вещи.

К коре дерева она прикрепила зеркало и утром гляделась в него. А вечером, когда Гориллиус возвращался с охоты, со смотров и объездов своей территории, она садилась около него, закутанная в свое обезьянье манто, приставляла к глазам черепаховый лорнет и начинала, нежно урча, выискивать насекомых в шерсти своего возлюбленного.

Иногда в холодные и дождливые дни она несколько страдала от недостатка комфорта, но зато ночи, даже самые холодные и дождливые, сторицей вознаграждали ее за спартанскую жизнь.

Малютка Ганс совсем превратился в гориллу. Он покрылся такой густой и кудлатой рыже-коричневой шерстью (рыжей от природы, коричневой от грязи), что ему теперь и не требовалось носить коричневую куртку, так он стал похож на гориллу. Отчаянный доктор Фриц перещеголял самого Гориллиуса своей звериной яростью. Он научился убивать корову одним прыжком на ее спину, а человека поджидал на ветке дерева, с размаху бросался на него сверху и в одно мгновение проверенными движениями душил его.

Малютка Ганс, выполнявший функции министра иностранных дел, ненавидел иностранных послов. Они оставили в целости свои особняки, которые теперь нелепо торчали, как башни, посреди обломков и развалин бывших городов и девственного молодого леса. Они очень любили протесты, ноты и меморандумы, которые Ганс ненавидел, так как писать и читать он старательно разучивался.

Новое правительство, созданное Гориллиусом, было по душе господину Хруппу. Оно обеспечивало ему ежегодный прирост капитала не ниже, чем на двадцать

процентов. Сам он жил, конечно, не в Джунглях, он жил в Париже, в прекрасном особняке на Елисейских полях.

Иногда он приезжал на родину (один, конечно, без жены), чтобы посетить свои заводы и дать инструкции своему правительству. Его заводы процветали. Заказчиком господина Хруппа было все гориллье стадо. Конкурентов у Хруппа не было. Верховный горилла чувствовал себя столь обязанным этому господину, что любого его конкурента мог съесть почти буквально и почти живьем. Так что между Хруппом и Гориллиусом поддерживались самые дружеские, даже, я бы сказал, фамильярные отношения.

Один раз господин Хрупп подъехал на своем «Паккарде» к самому жилищу Гориллиуса.

— Эй ты, там, верховный, слезай-ка! Встречай гостя! — закричал он и, чтобы было слышнее, еще два-три раза нажал грушу сирены.

Из ветвей выглянула голова Элизабет.

— Господин Хрупп? — гостеприимно спросила она своим простуженным и огрубевшим голосом. — Милости просим.

— Слишком большой милости. Как же это я к вам поднимусь без лифта?

— Ах, господин Хрупп, какой вы плохой сын своей родины, неужели до сих пор вы не отказались от своих человеческих привычек и все такой же изнеженный?

— Где хозяин, матушка? — спросил Хрупп, вместо того чтобы пускаться с нею в политические споры.

— Господин Гориллиус сейчас спрыгнет. Он еще потягивается.

И действительно, почти сразу же за ее словами Гориллиус спрыгнул на землю и, зевая, стал почесываться спиной о кору сучковатого ствола.

Хрупп присел на ступеньку своей машины, весело потирая пухлые ручки.

— Ну, так как же, преуспевает наше гориллье государство?

— Видишь!.. — с удовлетворением сказал Гориллиус, обводя рукою вокруг и указывая на лесные чащи.

— Так вот что, батенька, я тебе скажу, — оживленно заговорил господин Хрупп, — не кажется ли тебе, что у вас тут слишком тихо, а твое стадо готово к большим боям. С твоим-то зверством, да с яростью ты без труда можешь завоевать весь мир. Уж поверь мне! А я, тем более, слышал, что в граничащем с Джунглями государстве люди страшно завидуют твоим гориллам, и не прочь бы превратить и свою страну в джунгли. А то сейчас там прямо чорт знает что делается. Рабочие предъявляют ни весть какие требования. Сокращай им рабочий день, подавай им социальное страхование. Ну, в общем, ты этого все равно не поймешь. Так что, братец ты мой, ты бы подумал да поговорил со своими. Я уже малютке Гансу все свои соображения рассказал, что к чему. Он хоть и стал гориллой, а соображает еще, как человек. Так что я спокоен.

Господин Гориллиус почесал левой ногой правое ухо и ответил:

— Да стадо мое рвется в бой. Это ты правду говоришь. Так что если надо тебе, чтобы мы подрались — со всем удовольствием. Мы это дело в два счета обделаем.

Малютка Ганс, отчаянный Фриц и Элизабет, каждый по-своему, но все в равной мере заинтересовались идеей Хруппа и одобряли ее.

Уже вечером Элизабет шептала Гориллиусу на ухо:

— Мой горилльчик! Если несчастный жалкий человечишко Наполеон Бонапарт завоевал всю Европу, то

ты можешь завоевать и Европу, и Америку, и Азию, и Африку, и Австралию. Ты можешь стать вожаком всего мира, верховным гориллой, почти богом.

— Учитель, — уговаривал малютка Ганс, — право, было бы неплохо утереть нос всем дипломатам, захватить дорогих соседушек. Поручи мне небольшую подготовку, и я тебе устрою такую драку, что ах, пальчики оближешь.

Но отчаянный Фриц знал лучше других, что нужно сказать Гориллиусу, чтобы зажечь его.

— Учитель, — говорил он, — как много еще непролитой крови есть за границами Джунглей. Гнусной человеческой крови! О, как я ее ненавижу! О, как хорошо проломить человеческий череп, сразу кровь начинает быстрее струиться по жилам и становишься сильнее и моложе...

Ноздри Гориллиуса расширились, и он готов был сейчас же, ни на минуту не откладывая, прореветь сбор всего стада и ринуться к границе. Однако надо было подождать.

Малютка Ганс никогда не был дипломатом, но много ль требуется от горилльего дипломата? Только то же, что требуется и от всякой гориллы: минимум уважения к другим, максимум уверенности в себе, а главное — наглость, наглость и наглость.

Началось все с того, что в соседней стране, которая была намечена первой жертвой горилльего стада Центральных Джунглей, однажды ночью из клетки зверинца был кем-то выпущен старый самец гориллы. И в ту же самую ночь из тюрьмы бежал человек, известный в уголовном и судебно-психиатрическом мире под кличкой «Кровавый Джек». Кровавый Джек прославился тем, что зарезал своего отца, мать, трех сестер, жену и двух своих малышей.

Эти два случая, на первый взгляд, никаких особых международных последствий не имели. Горилла, как предполагали, убежал в лес и, возможно, попал в Центральные Джунгли. А Кровавый Джек скрывался неизвестно где, и ему приписывались все убийства, которые по стилю и методам напоминали его, так сказать, «творческую индивидуальность».

Через некоторое время в известных кругах облюбованной Гориллиусом страны стали передавать из рук в руки изящно изданный томик. На его обложке было написано:

ВЕРХОВНАЯ САМКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЖУНГЛЕЙ
БЫВШАЯ ЭЛИЗАБЕТ ПИККЕРИНГ.
«МОЯ ЖИЗНЬ В ДЖУНГЛЯХ».
Издание автора.
193_ год.

Эти мемуары так тонко и красочно передавали все прелести горилльей любви, что читателю сразу же становилось ясным, почему просвещенная Элизабет стала на путь превращения в гориллу, отказалась от своего человеческого достоинства и счастливо зажила горилльей жизнью.

Элизабет рассказывала, как великий мудрец господин Гориллиус открыл ей цель жизни и как она нашла наконец свое «я» в примитивной горилльей жизни и с радостью сожгла свой дом, библиотеку, ноты и теперь живет на дереве, одетая в коричневое манто и воспитывает горилльих детенышей в зверином духе на дело дальнейшей борьбы за обесчеловечивание мира.

Эта книжонка сначала вызывала в обществе оживленные разговоры своей необычностью и экстравагантностью, затем в одной из зал столицы была устро-

ена публичная лекция: «Мы гориллы и как мы хотим переустроить мир».

Вскоре оказалось, что в стране существует партия гориллистов, которая насчитывает двести тридцать четыре человека и одну настоящую гориллу. Председателем ее был старый самец, убежавший из зверинца, а секретарем — Кровавый Джек.

Стало известно, что двести тридцать четыре гориллоподобных обладают колоссальными средствами.

Через несколько дней гориллоподобные устроили погром в рабочем районе и утопили в реке двух старых музыкантов.

Страна обеспокоилась. Угроза превращения в джунгли стала реальной и близкой.

Правительство опубликовало специальное коммюнике, гласящее, что если партия гориллистов еще раз позволит себе устроить погром, то она будет запрещена. В ответ на это коммюнике гориллисты предъявили правительству ультиматум: если через двадцать четыре часа на улицу не будут выпущены все дикие звери, содержащиеся в зоологических садах, и все уголовные преступники, в коих течет наибольший процент обезьяньей крови, — то они, гориллисты, не отвечают за последствия.

Как это ни странно, правительство отвергло ультиматум. Но на следующий же день стало известно, что в Центральных Джунглях несколько стад горилл стянуты и здесь, у самой границы, охотятся и репетируют грозные бои. Тогда правительство не на шутку обеспокоилось и обратилось за помощью к другим странам, но было уже поздно.

Ровно в десять часов к зданию правительства подошли двести тридцать четыре члена гориллистской партии. Над ними колыхался плакат: «Присоединимся к Джунглям! Такова воля всех гориллоподобных нашей страны!»

И многим было непонятно, как это двести тридцать четыре гориллоподобных человека смогли разоружить двухсоттысячную армию, обстрелять здание правительства, занять телеграф, телефонную станцию, арсенал и вокзалы. Но это было непонятно лишь до тех пор, пока по городу не разнеслась весть, что многотысячное стадо горилл перешло границу и приближается к столице, пока над городом не появилась стая гориллых самолетов и не забухали первые бомбы.

Наутро еще одно европейское государство перестало существовать. Оно превратилось в так называемую Загорную возвышенность Центральных Джунглей.

Успех этого предприятия еще больше вскружил головы приближенным Гориллиуса. Они стали воображать, что эта первая победа горилл над иностранцами подняла их на необычайную высоту и теперь им уже обеспечено главенство над всем миром. Элизабет мечтала называться верховной самкой мира. Отчаянный Фриц и малютка Ганс чувствовали себя самыми замечательными людьми на земном шаре.

Между тем Заторная возвышенность Центральных Джунглей стала совершать быстрый процесс гориллизации. И здесь, один за другим, разрушались города, музеи, университеты, библиотеки. Все пожелавшие остаться людьми — зверски убивались. Вся промышленность перешла в руки господина Хруппа. Старый горилла-самец, убежавший из зверинца, стал теперь наместником господина Гориллиуса и быстро ликви-

дировал человеческую породу, превращая страну в настоящие дикие джунгли.

Празднуя победу над соседней страной, господин Гориллиус решил устроить грандиозный парад горилльих стад.

На этот парад были приглашены военные атташе и иностранные дипломаты, жившие в Джунглях. Они сидели на специально построенной трибуне, а горилльe население, не занятое на параде, разместилось на деревьях, обвесив ветви и сучья как грозди винограда.

На вершине высокого дерева появился господин Гориллиус в сопровождении своих неизменных друзей. Он встал на задние лапы и грозно зарычал. Перед ним на суку висел микрофон, и могучий голос его разносился по всему лесу, по всем джунглям, и по всему миру.

— Обезьянушки! — закричал Гориллиус. — Гориллушки, жалкие вы черепахи, раздробил бы вам слон хоботом череп! Мы одержали новую победу над жалким человеческим родом. Ширится территория Джунглей. И недалеко то время, когда все ближние и дальние страны превратятся в Джунгли. Так давайте же заведем наш воинственный рык, пусть его услышат во всем мире и поймут нашу силу и мощь!

И он первый затянул, а все гориллы и гориллоподобные подхватили уже известный нам воинственный гориллий рев. И под звуки этого яростного многоголосого рева из распахнутых ворот укрепленного форта вышли гориллы. Впереди шел батальон ударной ярости, составленный исключительно из горилл нижнегвинейского стада. Они шли на четвереньках, с оскаленными зубами, с пеной, стекающей по острым клыкам, с огромными дубинками, зажатыми в мохнатых кулачищах.

Вслед за ними шло стадо летчиков, стадо танкистов, артиллеристов и т. д. Эти стада состояли не из настоящих горилл, а из гориллоподобных. Они хором выкрикивали свои воинственные лозунги:

«Предоставим жалость глупым людям! Мы не умеем жалеть и в этом наша сила!»

— Крови, крови, крови! — командовали вожаки в такт шагам. — Крови, крови, крови!

Речь господина Гориллиуса и рассказы о горилльем параде облетели весь мир, вызывая все большую тревогу и опасения. И эти опасения не были совсем напрасны.

Господин Хрупп богател буквально фантастически. Он поставлял оружие и все необходимое для войны многим странам. Чем больше государств боялось горилл, тем это было выгоднее господину Хруппу, потому что тем больше заказывали ему вооружений. Чтобы сильней разжечь взаимное недоверие, как политик дальновидный, он пожертвовал довольно крупную сумму на создание и существование международной комиссии по разоружению. Представители всех государств сидели в этой комиссии и спорили о том, кто должен разоружаться первым.

Спор этот наверное никогда и не кончился бы, если бы не нашлось одно средней руки государство, которое вдруг возвестило всему миру: «Хорошо! Мы положим почин! Мы разоружимся первыми!»

Представитель этого незадачливого государства, страшно гордый и довольный собой, проехал прямо к господину Хруппу и заявил, что его государство отказывается от всех военных заказов.

— Как? — воскликнул господин Хрупп. — Так ваше заявление в комиссии не было лишь дипломатической уловкой?

— Конечно, нет, — уверял дипломат. — Мое правительство имеет самое искреннее намерение разоружиться, чтобы нашему примеру последовали и другие державы.

— Но вы же с ума сошли! — неистовствовал господин Хрупп. — Вас же слопают в два счета!

— Что вы, что вы, господин Хрупп, — уверял его дипломат. — Я получил заверения крупнейших мировых держав, что нас никто пальцем не тронет, иначе ему придется иметь дело с этими державами.

— Вы просчитаетесь, уважаемые! — негодовал Хрупп. — Вы идиоты, милостивый государь. Короче говоря, если вы не понимаете человеческого языка, то я вам скажу прямо: вы не будете разоружаться, наоборот, я, господин Хрупп, заставлю вас вооружаться так, как вы еще не вооружались... Мои гориллы... — Но на этом он осекся и, чтобы не сказать лишнего, торопливо выбежал из своего кабинета, оставив дипломата наедине с его испугом и с его растерянностью.

Так вот в этом несчастном государстве, вздумавшем разоружаться первым, в маленьком провинциальном городке, существовало городское училище, о котором никто за пределами этого городка никогда не слышал. Однако именно эта школа вскоре стала известна во всем мире. Трое мальчишек четвертого класса этой школы, прослышав о гориллах и джунглях, вообразили себя гориллами-искателями приключений и отказались готовить уроки и посещать школу.

Родители шалопаев не придали этому факту особого значения и, отдув своих мальчишек, приказали им выкинуть дурь из головы, готовить уроки и идти в школу. Но политика это политика, и никакие шлепки не могут остановить вращение колеса мировой истории.

В местной газете появилась статья в защиту шалопаев:

«В наше цветущее время можно отлично прожить без ученья, — говорилось в статье. — Пусть они действительно лучше учатся драться, потому что господин Гориллиус, который никогда не изучал даже грамоты, сделал неплохую карьеру, да и вообще стоит напомнить про горилл из Центральных Джунглей, которые закрыли все школы и сожгли учебники, что, однако, не мешает им расширять свое государство за счет некоторых соседних государств».

В другой местной газетке, в ответ на эту статью, появилось письмо, написанное группой учителей. В этом письме учителя весьма наивно доказывали, что ученье свет, а неученье — тьма.

Но дискуссия на этом не закончилась. В ответ на письмо учителей, на второй странице газеты появилась статья, доказывающая, что поговорка о свете и тьме устарела, а на четвертой странице маленькая заметочка сообщала, что группа учителей, написавшая письмо, вечером была избита неизвестными.

Через некоторое время дискуссия о мальчиках, не желающих посещать школы, захлестнула всю печать, в том числе и столичную. Страсти разгорались. Местные приверженцы горилл потребовали закрыть в стране половину школ, утверждая, что школы это рассадник знаний, мешающих гориллоподобным юношам развивать свои природные звериные наклонности.

Тогда правительство поставило вопрос о школах на обсуждение парламента. Парламент большинством ста двадцати трех против трех отверг требование о закрытии половины школ.

Вскоре правительство получило ноту из Центральных Джунглей, подписанную малюткой Гансом. В этой

ноте говорилось, что высокоуважаемое правительство не может не знать, что в его стране живет немало людей, желающих превратиться в горилл... «Но законы вашего уважаемого правительства, — говорилось в ноте, — препятствуют им в этом. Поэтому вожак и верховный горилла Центральных Джунглей господин Гориллиус заявляет вам свой протест и просит вас, как дружественное соседнее государство: 1) закрыть 60 процентов всех школ; 2) разрушить три старейших университета; 3) уничтожить половину имеющихся в стране книг; 4) издать закон, запрещающий родителям принуждать детей посещать школы!»

Получение этой ноты внесло растерянность в правительственные круги. На следующий день стало известно, что Джунгли, в подкрепление своей ноты, проводят на границе охоту и маневры нескольких стад горилл, совсем как это было перед захватом Загорной возвышенности.

Между тем в зоологическом саду умерла старая больная самка — горилла по имени Матильда. Вдруг взяла да и померла: закашлялась, зачихала, задергалась и вытянулась на полу своей клетки.

— Ага! — закричали в один голос гориллисты. — Замучили обезьянку! Это выпад! Это демонстрация! Вы объявляете войну гориллам? Хорошо! Гориллы смогут отомстить вам за свою бедную сестру, павшую жертвой человеческого произвола и измученную в черной неволе.

Похороны Матильды превратились в мощную демонстрацию гориллистов. Сотни гориллоподобных людей шли за гробом, усыпанным цветами.

На кладбище были доставлены пышные венки из *Джунглей,* Громадный венок был прислан от имени господина Гориллиуса. На другом венке, сделанном из

живых хризантем, была трогательная надпись: «Сестре по духу, от верховной самки, бывшей Элизабет Пиккеринг».

У могилы состоялся митинг. Гориллоподобные ораторы говорили:

— Матильда должна быть отомщена! Она требует мщения! Сердце гориллы и гориллоподобного не снесет такого оскорбления!

Вдруг, растолкав толпу, к импровизированной трибуне пробралась настоящая мохнатая горилла. Она вскочила на дерево, стоящее около могилы, и заревела:

— Гориллоподобные! Матильда будет отомщена! За мной, ко дворцу правительства. Горилльи стада уже перешли границу! Горилльи самолеты уже подлетают сюда! За мной! За господина Гориллиуса, за Джунгли, вперед!..

Забыв про Матильду и не засыпав могилы, все устремились к центру города. Там уже шло разрушение. Горилльи самолеты сбрасывали бомбы на университеты, музеи, больницы, правительственные здания. Горилльи самолеты сбрасывали бомбы в места наибольшего скопления людей. К небу вздымались столбы дыма, и зарево пожара освещало город необычайным багровым светом. Вскоре на окраинах города раздалось страшное слово: газ... По улицам бежали бледные люди в поисках газо-убежищ. Они бежали пошатываясь и затем медленно прислонялись к стенам, судорожно закрывая руками лица, но смерть настигала их, и они оседали на панели, посиневшие с выступившей изо рта пеной.

Наступила ночь. Город был объят пламенем. Одна тревожнее другой приходили телеграммы из пограничных районов. Громадные стада горилл двигались

по направлению к столице. Смятение и ужас наводил на пограничные войска батальон ударной ярости.

Так началась война, страшная и кровопролитная. Смелый народ не хотел покориться гориллам и решил защищать свою родину до последней капли крови.

Эскадрильи горилльих бомбардировщиков непрерывно бомбардировали укрепления, возведенные людьми на правом берегу реки. Но люди возводили их снова и снова.

Тогда гориллы пустили в ход свои танковые части и артиллерию. Танки двинулись к реке, сметая артиллерийским и пулеметным огнем все живое, находящееся на их пути. Они успешно форсировали реку и двинулись на окопы. Но люди выскочили из окопов и бросились навстречу танкам. Они бросали гранаты под гусеницы, засовывали горящую паклю во все отверстия, и танки не могли продвинуться вперед и даже вынуждены были отступить.

Измученные, но обрадованные хоть некоторой победой, люди приготовились к новой горилльей атаке. Но эта атака началась раньше, чем они предполагали. И началась она совсем неожиданно. Совсем с другой стороны, из густого леса, еще не занятого гориллами, раздался страшный вой и треск. Это не был грохот канонады. Это не был грохот мчащихся танков. Это не был топот лошадей и крик людей. Это был звериный яростный вой без мысли, без смысла, без значения, рвущийся изнутри и выражающий только безграничную ярость.

Громадными прыжками, с дерева на дерево, то спускаясь на землю и пробегая по ней несколько шагов, то зацепившись рукой за ветку и вновь взвившись в воздух, как неистовый ураган, как неуловимая лави-

на, мчалась на людей стая яростных и свирепых горилл. Они были ослеплены своей яростью и не видели ни дорог, ни рвов, ни воды. Их нес их звериный инстинкт.

Эти дьяволы не бежали по земле, а прыгали на высоту деревьев. Каждую секунду их положение в пространстве менялось. Люди открыли беспорядочный огонь, но не прошло и нескольких секунд, как гориллы обрушились в окопы на головы мужественных бойцов.

Нетрудно себе представить, как ведет себя стадо диких, обезумевших от ярости зверей, когда оно дорвется наконец до крови. Звери рвали зубами и когтями человеческое мясо, ломали их спины, руки и ноги, раздробляли головы ударами кулачищ и жадно лакали алую горячую человеческую кровь.

Горилльим танкам здесь делать было больше нечего. В окопах лежали груды сломанных костей, оторванных от раскромсанного мяса, обрывки одежды, обломки ружей и пулеметов.

А звери, предоставив шакалам доделывать их страшное дело, бросились дальше, к ближайшему городку.

Это был тихий провинциальный городок, веками погруженный в покой и невозмутимость. Сейчас город был похож на вымерший. Мужчин в этом городе не было. Все находились на фронте. Женщины, старики и дети попрятались по домам, закрыли ставни, заперли двери на засовы и замки.

Как тайфун пронеслось стадо по пустынным улицам. Но не встретив ни одного живого существа, гориллы стали выбивать двери и окна домов, врываясь в жилища людей.

И только тогда, когда не осталось в городке ни одного бьющегося сердца, они повернули обратно и та-

кими же стремительными прыжками помчались в глухой лес, к границе Джунглей.

Территория Джунглей расширялась. Она захватывала район за районом, и беспомощная народная армия не имела возможности приостановить наступление коричневой чумы.

Гориллы укрепились в мысли о своем всемогуществе, и наглость их возросла еще больше. Вестники джунглей появлялись то тут, то там. Уже нередко можно было встретить на улицах крупнейших городов в нейтральных странах джентльменов, расхаживающих в коричневых рубашках цвета горилльей шерсти.

И так как единомышленники господина Хруппа предпочитали власть горилл власти народа — то, нет сомнения, дорогой читатель, что мир ожидала страшная участь.

Уже одно за другим стали рушиться и исчезать с лица земли государства, захватываемые гориллами, и в тех странах, где гориллоподобные еще не успели сорганизоваться и еще издавались газеты, люди, вставая по утрам, первым делом торопились прочесть свежие сообщения о новых областях, обращенных гориллами в первобытное состояние.

Но на этом, к счастью, и кончается история горилльего владычества и начинается другая история, которая, собственно говоря, и составляет предмет моего описания...

* * *

Здесь обрывается рукопись, переданная мне лейтенантом К. Последние строчки рукописи написаны торопливым, неровным почерком, свежими чернилами.

На полях имеется приписка: «Сегодня получен приказ. Гориллоподобные влекут меня и моих товарищей на Восток. Они готовятся к гигантскому прыжку, не понимая, что там их ждут клетка и смерть».

КНИГА ЧУДЕС, ИЛИ НЕСКОЛЬКО МАЛОВЕРОЯТНЫХ ИСТОРИЙ

Иллюстрации Беломлинского М. С.

Л. Лениздат, 1968 г.

Д. ДАР

Книга чудес

или

несколько маловероятных историй

ПИСЬМО МОЛОДОМУ ДРУГУ

Вот и старость пришла,
а где же мудрость?
Из записных книжек

Однажды я заметил, что заболеваю неизлечимой болезнью. Эта болезнь называется старостью. Ее ужасные симптомы — накопление жизненного опыта, который откладывается в сознании, как известь на стенках артерий.

Старость подкрадывалась ко мне со свойственным ей коварством: с любимыми детьми и прелестными внуками, с уважением окружающих и склерозом сосудов, с чрезвычайно разросшимся прошлым и сжавшимся в маленький комочек будущим.

Оно уютно свернулось передо мной, мое крохотное будущее, поблескивая лысиной, пенсией, вставными зубами, пузырьками с лекарствами и жизненным опытом. И уже не сладостное предчувствие неведомой и загадочной Истины изредка касалось меня своим прохладным крылом, как бывало в юности, а надежные азбучные истины окружали меня подобно подушкам, и мне хотелось умять их под себя, чтобы было еще удобнее и покойней: одну азбучную истину положить под локоток, другую — под спину, третью — под зад, и лежать на своих умятых истинах, жирея и хрюкая от своей старческой мудрости и поучая юношей, как им следует жить на свете.

И юноши пришли ко мне. Ты хорошо помнишь то время. Всем вам было по восемнадцать лет. Дерзость и робость боролись в ваших душах; вы были истерзаны

грандиозной бесцельностью мироздания и своим величием, которого никто не замечает, и своим ничтожеством, на которое указывают пальцами все те, кто уже отрастил себе бороду или брюхо. Вы искали утешения в кино и футболе, в книгах и спорах, и сладостное предчувствие Истины изредка касалось вас своим прохладным крылом.

Ты сказал мне тогда:

— Я знаю, что один человек — это только песчинка на берегу или капля в океане. Но я не чувствую себя ни песчинкой, ни каплей, а чувствую, что ни на кого не похож, никем не заменим, что я исключительный и единственный во всех временах и пространствах.

Другой сказал мне:

— Сейчас, когда я ехал к вам, я встретил в автобусе деву гику. Она не красива, не умна, не мила и не обращала на меня внимания. Но я полюбил ее на всю жизнь, и это, конечно, чудо, которое невозможно объяснить. А мне говорят, что чудес не бывает.

Третий сказал:

— Неверно, будто дважды два всегда четыре. Я не могу этого доказать, но всей силой своей души чувствую, что это неверно.

Вы так искренне и щедро делились со мной своей божественной неопытностью, доверчивостью и наивностью, что вдруг случилось чудо и, вопреки своему жизненному опыту и азбучным истинам, я понял, что все мы действительно исключительны и незаменимы во- всех временах и пространствах, что чудеса поджидают нас на каждом шагу — и в трамвае, и в автобусе, и за поворотом улицы, — и что дважды два не всегда четыре.

С тех пор я преодолел в себе соблазн учительства, потому что в каждом поучении скрыто чувство пре-

восходства учителя над учеником, а я вовсе не чувствую превосходства своей надменной и уверенной старости над твоей робкой и тревожной юностью.

Поэтому я хочу, чтобы всё, что я пишу, ты воспринимал не как поучения уверенного в себе писателя, а только как наблюдения неуверенного попутчика, который приближается вместе с тобой к городу моего вымысла.

Город моего вымысла похож, на всякий город: есть в нем заводы и кинотеатры, сады и бани, стадионы и магазины, особняки и общежития. Живут там парни и девушки, ученые и милиционеры, умные и глупые, красавицы и дурнушки. Некоторых из них я хорошо знаю, хотя не хотел бы их знать. Других не знаю, хотя хотел бы узнать. Одних я часто встречал, но никогда не желал их встретить. Других никогда не встречал, но всегда желал их встретить. А есть и такие, которых я не встречал, а ты встречал. А есть и такие, которых ни я не встречал, ни ты не встречал, — их я попросту выдумал. Короче говоря, город как город, только... чудеса там на каждом шагу.

Чудеса там растут на деревьях, как листья. Они висят на вешалках, как шляпы. Они таятся за каждой дверью, за каждым окошком, за каждым «здравствуйте» и «до свиданья **».**

Ты, пожалуй, не поверишь, что все маловероятные истории, о которых я расскажу в этой маленькой книжке, случились на самом деле. Ну что ж! Я и сам в это не очень верю. Я уже давно заметил, что если ничего не привру, то даже самая истинная правда почему-то получается у меня как выдумка. А если слегка привру, так даже явная выдумка становится похожей на правду. А кроме того, мне столько всякого пришлось за свою жизнь увидеть, столько услышать, столько

самому рассказывать, что где уж тут разобраться, что я сам видел, а что другие видели, и что я видел такого, чего не хотел бы видеть, а чего не видел, что хотел бы увидеть; и что было такого, чего не могло быть, а чего не было, что должно бы быть!..

— Постойте, постойте, что это вы написали? — спросят у меня здравомыслящие читатели. — Как же может быть такое, чего не может быть?

— О, это очень просто, — отвечу я. — В городе моего вымысла чудеса никого не удивляют, как в других городах никого не удивляет то, что каждый день из небытия в бытие приходят одни люди, а другие уходят из бытия в небытие, будто бытие и небытие — это смежные комнаты.

— Нет, — скажут здравомыслящие читатели, — в наше время небывалого развития науки и техники никаких чудес быть не может. Всё в мире взвешено и измерено, всё разложено на составные части и рассортировано по полочкам. И в нашем сознании не осталось ни одной свободной полочки, куда удалось бы вам втиснуть что-нибудь такое, чего нельзя было бы объяснить. Потому что мы, к вашему сведению можем объяснить решительно всё, что было, что есть и что будет.

Но ты не слушай их, мой юный, мой славный попутчик! Мы с тобой сошли бы с ума от скуки, если бы могли объяснить всё, что было, что есть и что будет. Наверное, жизнь тогда показалась бы нам ничтожной, как выкуренная папироса, как сношенные носки, как билет на вчерашний спектакль. А ведь нам с тобой жить трудно, хорошо и весело потому, что всё в жизни начинается не там, где начинается, и кончается не там, где кончается; потому что жизнь — это постоянное, неуловимое рождение множества причин и след-

ствий, причудливая игра противоречий, неожиданностей, исключений из правил. И мы с тобой не станем слушать тех старых ворчунов, для которых в жизни нет ничего необыкновенного. Мы не побоимся ни противоречий, ни несуразностей, ни насмешек, которые нас могут подстерегать на каждой странице. Ведь мы не преклонили колени перед моим жизненным опытом и азбучными истинами, ведь мы с тобой еще молоды, не правда ли?

УМНЫЙ МИША

То, что умный Миша был умным, знали все: и официантки в столовой, и комендант в общежитии, и девушки в клубе, и сам умный Миша догадывался об этом.

А то, что глупый Ванечка был глуповат, тоже ни для кого не было секретом: ни для официанток в столовой, ни для коменданта в общежитии, ни для деву-

шек в клубе. Да и сам глупый Ванечка тоже догадывался об этом.

Умный Миша был неутомим: придет с завода — и сразу за книги, или на лекцию, или на собрание. Он интересовался всем на свете.

А глупый Ванечка любил полежать. Придет с завода, поест, снимет тапочки — и на кровать. А интересовался он только тем, что можно потрогать руками.

Умный Миша любил спорить. Он мог спорить с кем угодно и о чем угодно. И рад он был спорить с утра до вечера и с вечера до утра, — только работа мешала.

А глупый Ванечка спорить не любил. Глупый Ванечка говорил, что споры ему отдыхать мешают. «Пусть умные спорят, — говорил глупый Ванечка, — а я тем временем отдохну».

И умный Миша никогда не спорил с глупым Ванечкой, потому что умные, как известно, не спорят с глупыми. Умному, как известно, интереснее поспорить с умным и переспорить умного, потому что какая же будет умному честь, если он переспорит глупого?

Но однажды случилось так, что умный поспорил с глупым. Больше поспорить ему было не с кем: все умные ушли на стадион, где в этот день играли «Спартак» и «Динамо». Только умный Миша не пошел на стадион, потому что он был слишком умным, чтобы интересоваться футболом. А глупый Ванечка не пошел на стадион, потому что он был слишком глупым, чтобы догадаться, что билет следовало купить заранее.

— Всё ясно, — сказал умный Миша, усаживаясь за учебник английского языка. — Всё совершенно ясно: в то время как одни работают ногами, другие работают головой!

— Хе! — сказал глупый Ванечка, и это могло означать что угодно.

— А ты думаешь, что это не так? — спросил умный Миша и быстро повернулся к нему, готовый поспорить. — Ты думаешь, что для общества безразлично, чем работает человек: головой или ногами? Ты думаешь, что голова и ноги равноценны?

— Хе! — опять сказал глупый Ванечка, лежа на кровати и сладко потягиваясь.

— Ошибаешься, дружок, — сказал умный Миша, вскочив со стула. — Не ногами создаются материальные и духовные ценности. Не ноги ведут нас вперед по пути прогресса!

— Хе! — сказал глупый Ванечка и полосатыми носками уперся в спинку кровати.

— Нет, не «хе»! — закричал умный Миша. — Не ногами написаны книги, по которым мы учимся! Не ногами мы постигаем суть явлений! Даже хороший футболист, по существу, играет не столько ногами, сколько головой!

— Хе! — сказал глупый Ванечка и закурил папиросу.

— Это не возражение! — кричал умный Миша, бегая между столом и кроватью. — Изволь доказать мне, что я неправ. Но ты не сможешь этого доказать, а я докажу, что голова и ноги не равноценны, что не за ноги меня выдвинули в члены редколлегии и числят в активе...

— Хе! — сказал глупый Ванечка, выпуская дым колечками.

Умный Миша выходил из себя. Он размахивал руками, ерошил волосы, бросался к книжным полкам в поисках нужных цитат, а глупый Ванечка затягивался папиросой, почесывал пятку о пятку и негромко отвечал свое неизменное «хе», которое могло означать что угодно.

Но в споре, как известно, побеждает тот, кто говорит тише. И когда время приблизилось к полночи и в комнате стало так темно, что футбольную таблицу нельзя было отличить от портрета киноартистки Тамары Макаровой, умный Миша выдохся, вспотел и уже не мог найти ни одного нового довода.

Он вытер пот, сел на стул и махнул рукой.

— Хорошо, — сказал он, — пусть будет по-твоему, у меня уже нет больше сил спорить!..

Так глупый переспорил умного.

Но умный Миша никак не мог с этим примириться. Он твердо знал, что белое — это белое, а черное — это черное, что умный — это умный, а глупый — это глупый, что два плюс два не может быть девять и что глупый не может переспорить умного.

И когда Петя Коржик и красавчик Витя пришли из кино, куда они отправились прямо со стадиона, он спросил у них:

— Скажите, ребята! Слышали вы когда-нибудь, чтобы глупый переспорил умного? Может ли такое случиться?

— Нет, — сказал Петя Коржик, — никогда я не слышал, чтобы глупый переспорил умного.

А красавчик Витя сказал:

— Не может глупый переспорить умного, просто я не могу себе этого представить!

Но Миша знал, что глупый переспорил умного, и он не мог лечь спать, не выяснив: как же случилось то, что не может случиться?

И он не лег спать.

В других комнатах погасили свет. Трамваи на улице ушли в депо. Автомобили разбежались по гаражам. Только умный Миша не спал, он рылся в книгах, желая

узнать: бывало ли когда-нибудь, чтобы глупый переспорил умного?

Но в книгах он не нашел ответа.

Еще не взошло солнце и никто не проснулся, а умный Миша в одних трусах уже стоял в коридоре у телефона и долго-долго звонил, пока наконец не услышал в трубке:

— Это частная квартира, черт побери! Это не скорая помощь и не пожарная команда!

— Простите, профессор Бублик! — сказал умный Миша. — Извините, что я разбудил вас, но я не могу спать...

— А? — кричал профессор Бублик. — Что случилось? Кто говорит?

— Вы меня не знаете, — сказал умный Миша, — но я вас знаю. Я слушал вашу лекцию. Я хочу знать: может ли глупый переспорить умного? Дело в том, что вчера один глупый и один умный...

— А? — кричал профессор. — Что? — кричал профессор.

Насилу умный Миша объяснил, что случилось, почему он в такой тревоге, кто умный и кто глупый, и тогда профессор стал так смеяться, что было слышно, как он даже притопывал босыми ногами по полу.

— Ну, и что же ты хочешь от меня, дружок? — спросил он. — Чем ты недоволен?

— Товарищ профессор! — сказал умный Миша. — Я просто не понимаю, как вы можете это спрашивать? Разве может быть, чтобы глупый переспорил умного?

— Да, дружок! — ответил профессор. — Это не только может быть, но так всегда и бывает, когда умный поспорит с глупым. Поэтому-то умные и не спорят с глупыми. А лично я, как только увижу глупого, так сразу заранее с ним во всем соглашаюсь.

— Ну, большое спасибо! — сказал умный Миша. — Теперь мне всё ясно. Теперь я буду еще умнее.

Он повесил трубку и вернулся в комнату, где был полумрак и все спали; только глупый Ванечка чуть-чуть приоткрыл глаза и, увидев Мишу, спросил:

— Почему ты не спишь? Наверное, еще вчерашний вечер? Да?

— Ну, конечно, еще вчерашний вечер! — сказал умный Миша.

— А может быть, уже завтрашнее утро? — спросил глупый Ванечка.

— Ну, конечно, уже завтрашнее утро! — сказал умный Миша.

И, натягивая штаны, он усмехнулся, радуясь тому, что стал еще умнее.

ПРЕКРАСНАЯ ГЛАША

Мы были тогда еще так молоды, что считали себя уже пожилыми мужчинами. Мы знали, что такое макрокосм и микрозвук, что такое косинус фи и фототелемеханика, и думали, что нам открыты все тайны мира и осталось лишь пожинать плоды своей мудрости.

Мы жили в одной комнате, в один час уходили на завод, одинаковые обеды заказывали в столовой, одни кинофильмы смотрели в кино; и когда один получал премию, то все покупали обновки, а когда одного

должна была посетить подружка, то все шли в парикмахерскую.

Мы знали друг о друге всё.

Мы знали, что сердце нашего белокурого красавчика Вити каждую неделю разбивается вдребезги, и тогда ничего больше Вите не надо: ни галстуков, ни кино, ни велосипеда.

Мы знали, что умный Миша никогда ничему не удивляется. И если как-нибудь утром он проснется и обнаружит, что уже двадцать второе столетие, то раньше, чем проснемся мы, он найдет этому вполне правдоподобное и удовлетворительное объяснение.

Мы знали, что глупый, толстый и добродушный Ванечка не будет стоять, если можно сидеть, и не будет сидеть, если можно лежать, и самыми бесполезными занятиями он считает ухаживать за девушками, спорить с товарищами и размышлять о том, есть ли жизнь на других планетах.

И мы знали, что во всем общежитии, а может быть и на всей улице, нет парня, который был бы скромнее и честнее нашего долговязого Пети Коржика.

Он скорее язык себе отрежет, чем соврет. Иной раз так сложатся обстоятельства, что всякий соврет, и за это не осудит никто, потому что нельзя не соврать. И сам Петя Коржик понимает, что надо соврать, и даже пробует соврать, но вдруг будто споткнется, покраснеет и взглянет на нас такими жалкими глазами, что наши сердца сожмутся от сочувствия.

— Что с тобой? — спросит красавчик Витя.

— Соврать хотел, — догадается умный Миша.

— Хотел! — говорит Петя Коржик. — Хотел, ребята!

Вот каким честным был наш Петя Коржик!

И вдруг он соврал.

Да как!

Вернулся он однажды из вечерней школы, и, как только переступил порог, мы сразу увидели, что с нашим Петей что-то не то. Ни на кого он не взглянул, молча снял пальто, нетвердым шагом прошел к столу и раскрыл тетрадь. Долго сидел он над раскрытой тетрадью, — и мы ничего не подозревали. Но когда красавчик Витя подошел к зеркалу, чтобы примерить новую морскую фуражку с белым верхом, то увидел, что Петя Коржик смотрит вовсе не в тетрадь, а в угол комнаты, где нет ничего, кроме электрического провода, белых роликов и черного штепселя. Смотрит он туда не отрываясь, и в глазах его такое удивление, будто ролики там играют в чехарду.

— Что с тобой? — спросил красавчик Витя, забыв о новой фуражке.

— В чем дело? — сказал умный Миша.

И даже глупый Ванечка, хотя ничего не сказал, но приподнял на кровати свое могучее тело и участливо поглядел на Петю.

— Ой, ребятушки! — проговорил Петя растерянно и удивленно. — Ой, ребятушки-братцы!

И он рассказал, что на экзамене по химии познакомился с девушкой, что такой красавицы мы никогда не видели — ни в кино, ни на картинках, ни в жизни: она так стройна и легка, что всё время стараешься не дышать, чтобы она не переломилась и не улетела. И она не ходит по земле, как все другие девушки на свете, а скользит по воздуху, не касаясь земли подметками. А голос у нее такой певучий и мягкий, что стоит ей произнести самое простое слово, ну хотя бы «здравствуйте» или «до свидания», — и кажется, будто раздалась задушевная песенка, от которой хочется смеяться и плакать одновременно. А в глаза ей просто невозмож-

но глядеть — голова кружится как у пьяного и земля плывет под ногами.

Ну и посмеялись мы над своим дружком! Откуда могла появиться такая красавица в нашей школе, где мы всех красавиц знали наперечет и среди них не было ни одной, которая уже не разбила бы сердце красавчика Вити? А если бы вдруг и появилась такая красавица, так за что бы она полюбила нашего долговязого, нашего большеухого, нашего скромника Петю Коржика?

Парень он, правда, хоть куда: и работает неплохо, и в шахматы играет, и школу скоро кончит, но кавалер самый никудышный. Восемнадцать лет на свете прожил, а танцевать так и не научился. И галстук завязать как следует не умеет. И подбородок всегда в чернилах. И главное — девушек боится. Как только незнакомую девушку увидит — поскорей в сторону. А если в сторону никак нельзя, так тут такое с нашим беднягой творится, что смотреть жалко: идет рядом с девушкой, слова не вымолвит, только глазами нам знаки подает: погибаю, мол, не покидайте!

Уж мы его учили-учили, — и все вместе и порознь. Красавчик Витя весь свой опыт ему передал — ничего не утаил. Умный Миша целую лекцию прочитал — научно доказал, что девушка, по существу, ничем не отличается от парня. Не помогло.

И как же он мог познакомиться с такой красавицей, да еще на экзамене по химии?

— Всё ясно, — сказал умный Миша. — Когда человек влюбляется, контроль рассудка ослабевает и явления внешнего мира могут отражаться в сознании с некоторыми искажениями. — И он поправил очки на своем ученом носике, похожем на маленькую кнопочку.

А красавчик Витя, комкая в руках новую фуражку, взволнованно убеждал:

— Уж поверь мне, уж мне ли не знать? Нет таких, чтобы земли не касались подметками! Соврал ты, Петя Коржик!

А Петя клянется, что он нисколько не соврал, и всё так и есть, как он говорит.

— Постойте, ребята, — сказал умный Миша. — Ясно одно: мы должны сами увидеть эту красавицу и решить — действительно ли она так красива, как нас уверяет Петя Коржик, или же он просто жалкий влюбленный, и слова его не заслуживают никакого доверия!

Сначала Петя Коржик ни за что не хотел назвать ее имени, но когда умный Миша сказал, что в таком случае он будет считать разговор исчерпанным и лучше займется изучением английского языка, бедняга сдался..

— Пожалуйста! — сказал он. — Глаша Парфенова! Угол бульвара Молодежи и переулка Светлых Надежд. Там дом строится. Там она работает.

На следующий день, сразу после работы, наспех умывшись, мы вскочили на велосипеды и среди потока автомобилей, автобусов и троллейбусов помчались к переулку Светлых Надежд.

Пети Коржика с нами не было. Он пошел в парикмахерскую подстричь свои космы, потому что вечером должен был встретиться с Глашей Парфеновой в парке культуры и отдыха.

На углу бульвара Молодежи и переулка Светлых Надежд действительно строился дом. Он был обнесен лесами, будто клеткой, и на разных этажах работали девушки в красных платочках и синих брюках.

Мы соскочили с велосипедов, задрали кверху головы; и, хотя нас толкали прохожие, мы стояли и раз-

глядывали девушек, надеясь увидеть среди них ту, которая так поразила воображение Пети Коржика.

Но девушки были как девушки, не лучше и не хуже всех других девушек на свете: и все они касались подметками дощатого настила лесов; и каждой можно было поглядеть в глаза — голова не кружилась. Не было среди них ни особых красавиц, ни особых дурнушек, кроме, впрочем, одной — неуклюжей толстушки в мальчиковых ботинках, которая топала так, что доски под ней гнулись и грохотали, будто кто-то бросал на них булыжники.

Она проходила на высоте третьего этажа с ведром и кистью в руках и напевала таким голосом, что прохожие, которым даже в голову не могло прийти, что этот голос принадлежит девушке, говорили: «Уж если не могут исправить громкоговоритель, так лучше бы выключили его совсем».

— Эй ты! — закричал красавчик Витя. — Пожалей, пожалуйста, наши барабанные перепонки!

Услышав это, она перегнулась через перила, и мы увидели такие добродушно-веселые щелочки глаз и столько веснушек на несоразмерно маленьком носике, похожем на озорную морковку, что нам стало весело, как в цирке.

— Чего рты разинули, бездельники! — закричала толстушка. — А ну, марш отсюда, а не то я вас разделаю, как вот эту стену! — И она обмакнула кисть в ведерко с зеленой краской.

— Постой! Постой! — захчахал руками красавчик Витя. — Скажи, где тут работает Глаша Парфенова?

— А зачем вам Глаша Парфенова? — спросила она. — Зачем она вам, бездельникам, понадобилась? Я — Глаша Парфенова!

— Ты... Глаша Парфенова?

— Это... Глаша Парфенова?

— Она... Глаша Парфенова?

— Я— Глаша Парфенова!

Мы так и покатились со смеху. А Глаша Парфенова, глядя на нас, стала смеяться тоже. И смеялась она так, что доски под ней ходили ходуном и зеленая краска выплескивалась из ведерка и капала на белый верх новенькой морской фуражки красавчика Вити.

Всю дорогу мы хохотали. Ну и разыграл нас наш тихоня и скромник! И кто бы мог подумать, что он способен выкинуть такую штуку?

Когда мы вернулись, Петя Коржик был уже дома. В парикмахерской его подстригли, побрызгали одеколоном, галстук был завязан по всем правилам. Петя сидел всё над той же тетрадью, но решал, как видно, такую задачу, какой нет ни в одной школьной программе.

— Были у нее? — спросил он с тревогой. — Видели?

— Ой, были! — хохотал красавчик Витя.

— Ой, видели! — покатывался умный Миша.

А Петя чуть не плакал.

— Может, вы приняли за нее другую, — говорил он в отчаянии. — Может, там у них две Глаши Парфеновы?.. Пойдемте со мной, вы увидите сами, что я не приврал ни слова, что такой, как она, нет ни в кино, ни на картинках, ни в жизни.

И мы пошли вместе с Петей на свидание.

Свидание было назначено в парке культуры и отдыха, за музыкальной раковиной. Там, возле пруда, стоит одинокая скамейка, на которой вырезано сорок три мужских имени, и сорок три женских имени, и сорок три сердца, пронзенных сорока тремя стрелами.

Петя Коржик сел на скамью, а мы устроились на берегу пруда, свесив ноги с обрыва к белым кувшин-

кам, лежавшим на громадных листьях, и отсюда, сквозь деревья, нам отлично была видна скамейка и на ней наш дружок, тревожно всматривающийся в даль дорожки.

Мы заметили девушку почти в тот же момент, что и Петя. Он поднялся ей навстречу и быстро обернулся в нашу сторону, как бы желая сказать: «Ну, смотрите!»

И мы смотрели.

Нет, он не был обманщиком, наш тихий и скромный Петя Коржик. Всё так и было, как он говорил. Мы отлично видели прекрасную Глашу. Ее маленькие ножки не ступали по земле, а скользили над ней, не касаясь земли подметками. И была она так стройна и легка, что малейший ветерок, казалось, мог подхватить ее и понести вдоль дорожки. А глаза... Поглядел в них красавчик Витя — и зашатался как пьяный, и схватился за куст, чтобы не скатиться с обрыва в воду.

— Здравствуй, — сказала она ошалевшему от счастья и робости Пете. — Ты давно уже здесь?

Разве она сказала «здравствуй»? Разве она спросила — давно ли он уже здесь? А нам показалось, что где-то раздалась задушевная песенка, от которой хочется смеяться и плакать одновременно.

— Видишь? — спросил красавчик Витя и схватил за руку умного Мишу.

— Не может быть, — прошептал умный Миша, который умел объяснить всё на свете.

А глупый Ванечка вздохнул и ничего не сказал.

Петя взял Глашу за руку и повел ее к скамье. Он шел, пошатываясь от счастья.

— Глаша! — говорил Петя Коржик, задыхаясь от любви и нежности. — Глаша! Я забыл твою тетрадку по химии. Я забыл ее, Глаша, я не захватил ее с собою, но я верну ее, Глаша, завтра же верну ее, твою тетрадку

по химии... — Так он вел ее по дорожке и всё говорил и говорил о своей любви, а когда заглядывал ей в глаза, то пошатывался как пьяный.

Мы вернулись в нашу комнату, к нашим книгам и футбольным таблицам, к нашим бутсам и фотографиям, и молча разделись, и молча легли в свои постели, и молча лежали с открытыми глазами, строгие, счастливые и торжественные.

Красавчик Витя размышлял: «Наверное, до сих пор мое сердце еще вовсе не разбивалось вдребезги, и только сегодня оно действительно разбилось вдребезги, и больше мне ничего не надо: ни галстуков, ни кино, ни велосипеда!»

И всю ночь ему снилась прекрасная Глаша.

Умный Миша размышлял: «Первый раз я не могу объяснить чего-то, а если я не могу объяснить чего-то, то, может быть, я не могу объяснить ничего. Но если я не могу объяснить ничего, то что ж удивительного в том, что я не могу объяснить чего-то?..»

И всю ночь ему тоже снилась прекрасная Глаша.

Глупый Ванечка размышлял: «Должно быть, и Витя и Миша не спят, а думают о прекрасной Глаше. Но думай не думай — ничего от этого не изменится.

Так лучше я не буду думать о прекрасной Глаше, а буду спать, потому что зачем же не спать, когда можно спать?»

Но и он не мог заснуть, потому что всё время думал о том, как бы не думать о прекрасной Глаше.

Но утро освежает разум, и мы сообразили, что здесь что-то не так.

— Чудо! — сказал красавчик Витя.

— Преломление лучей, — сказал умный Миша, и, надевая на свою заспанную кнопочку очки, он добавил уверенно: — Не может быть одна и та же девушка та-

кой дурнушкой днем и такой прекрасной вечером. Ясно — мы ошиблись. Или днем ошиблись, или вечером.

И чтобы проверить себя, каждый из нас решил снова пойти поглядеть на прекрасную Глашу.

Весь день мы думали о ней, и всё напоминало о ней: и тонкая струйка питьевой воды в цехе, и соловьиный свист станков, и слишком сосредоточенный вид друзей, и та чуть заметная улыбка, которая время от времени мелькала по лицу Пети Коржика.

После работы было еще собрание с такой обширной повесткой дня, словно за один вечер мы должны были решить все вопросы, которые волновали, волнуют и будут волновать человечество. И умный Миша не выступал на этом собрании, он не задавал вопросов, и не внес ни одного предложения, и все удивлялись, предполагая, что он заболел.

А как только собрание кончилось, он раньше всех помчался к проходной, прокричав нам, что ему в другую сторону, что он очень спешит, что он потерял очки, что у него лекция, что он нашел очки, что всего хорошего... И через секунду его велосипед уже нырнул в толчею улицы.

И красавчик Витя, как оказалось, спешил, — и тоже в другую сторону.

И глупый Ванечка, выйдя за ворота, подумал минутку и сказал:

— Ну что ж, раз все спешат в другую сторону, так и я поспешу в другую сторону.

Только Петя Коржик сказал, что он никуда не спешит, и он пожал руки друзьям, которые помчались в разные стороны.

Но через десять минут наши велосипеды чуть было не столкнулись у светофора. Сначала мы попытались спрятаться друг от друга за троллейбусами, автобуса-

ми и трамваями, потом расхохотались и, когда красный свет светофора сменился зеленым, поехали гуськом среди множества красных огоньков, гнавшихся один за другим по широкой улице.

Девушек на лесах уже не было. Сторож, сидевший у ворот, указал дом, где жили строители. Все семь этажей были освещены. Сто сорок окон раскрыты настежь. Ветер колыхал сто сорок занавесок. Сто сорок абажуров разной окраски цвели в комнатах. И в одной из комнат второго этажа мы увидели Глашу Парфенову.

Она стояла возле окна, сердитая и толстенькая. В одной ее руке было зеркало, а в другой — новая шапочка.

Это была чудесная шапочка, с цветочками и листиками, яркими и свежими, будто они росли в лесу. Но как только эту шапочку надела Глаша, цветочки сразу как бы завяли и выцвели, а листики свернулись сухими серыми трубочками, и чудесная шапочка стала похожа на старую кастрюльку, надетую на пенек озорными мальчишками.

И Глаша заплакала.

Она стояла возле окна с нелепой кастрюлькой на голове, размазывая по веснушкам слезы.

Бедная девушка! Бедная дурнушка Глаша!

А мы стояли на другой стороне улицы, опираясь на свои понурые велосипеды.

Как мог так обманываться наш несчастный, наш наивный, наш влюбленный Петя Коржик? И мы сами, всю ночь и весь день думавшие о прекрасной Глаше? Или правда, что лунный свет может ввести в такое заблуждение?

Умный Миша снял очки, протер их, надел опять и снова снял, чтобы протереть, и он не сказал ни слова.

И красавчик Витя ничего не сказал. И глупый Ванечка тоже.

А дурнушка Глаша между тем плакала у окна, не замечая Пети Коржика.

Он был еще далеко, но мы уже увидели его.

— Держись, Петя! Мужайся, дружок! — бодро крикнул ему красавчик Витя. — Вот она, твоя прекрасная Глаша!

— Не расстраивайся, сейчас я тебе всё объясню! — не очень уверенно закричал умный Миша.

А глупый Ванечка вздохнул и сказал:

— Хе!

И это могло означать что угодно.

Но Петя Коржик, наверное, даже не услышал наших возгласов.

— Глаша! — крикнул он, как только приблизился к ее дому.

И Глаша увидела Петю Коржика.

И едва она увидела его, как произошло чудо, какое может быть только в сказках для маленьких детей, для глупых детей, которые еще не знают ни физики, ни логики, ни диалектики.

В окне, как в раме, стояла Глаша Парфенова. Она была так стройна, что хотелось задержать дыхание, чтобы она не переломилась и не улетела. А в глаза ее нельзя было заглянуть — кружилась голова и земля плыла под ногами.

— Здравствуй, Петя! — сказала она, и нам показалась, что раздалась задушевная песенка, от которой хочется смеяться и плакать одновременно. — Здравствуй, Петя! — сказала она и вышла на балкон, и мы увидели, что ее туфельки не касались балкона подметками.

Нет, он не обманул нас, наш честный, наш скромный дружок. Прекраснее Глаши Парфеновой не было девушки в городе. Таких мы не видели ни в кино, ни на картинках, ни в жизни.

И мы поняли, что нам открыты далеко не все тайны мира и пожинать плоды своей мудрости еще рано.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ

Это очень странное происшествие. Оно произошло на кладбище. Поздней ночью. Один из участников этого происшествия — живой, красивый парень. Другой — покойник, лежавший в могиле.

Живой парень работал на нашем заводе.

У него были широкие плечи, светлые волосы, прекрасное здоровье и отлично сшитый костюм.

Премии за хорошую работу он получал каждый месяц, регулярно, как зарплату; в кино ходил два раза в неделю, не пропуская ни одного нового фильма; по ко-

личеству галстуков занимал первое, а по плаванию вольным стилем — второе место на заводе; и ухаживал за красавицей Маней Пальчик, в которую были влюблены шесть офицеров, пять инженеров, четыре студента, три слесаря, два ремесленника и один председатель завкома.

И некоторые из нас завидовали живому, здоровому и красивому парню.

Но сам он считал себя несчастным, потому что имел много неудовлетворенных желаний.

Он желал купить мотоцикл, жениться на Мане Пальчик, сниматься в кино, стать чемпионом мира по плаванию. И еще у него было столько разных желаний, что даже не перечислить.

Все эти желания не давали ему покоя.

Когда он приходил в Дом культуры — широкоплечий, здоровый, красивый, в отлично сшитом костюме и ярком галстуке, — то становился к стене, скрещивал на груди руки; и, видя, что шесть офицеров, пять инженеров, четыре студента, три слесаря, два ремесленника и один председатель завкома танцуют, смеются и шутят с красавицей Маней Пальчик, он спрашивал у кого-нибудь, кто оказывался рядом:

— Как вы думаете, неужели у всех у них тоже есть неудовлетворенные желания?

Ему отвечали, что у всех есть желания, и он говорил, горько вздыхая:

— Прямо не верится, что, имея неудовлетворенные желания, можно так веселиться. А вот я просто места себе не могу найти, так мне хочется, чтобы все мои желания исполнились.

И он уходил из Дома культуры за город и бродил там один по рощам, огородам и кладбищам, предаваясь своим невеселым размышлениям.

Однажды, забредя на кладбище и не спеша возвращаться в город, потому что дома желания терзали его особенно сильно, он прилег на траву, оперся локтем о могильный холмик, закурил и, глядя на быстрые облака, бегущие по ночному небу, стал рассуждать сам с собой:

— Ах, почему я такой несчастный? Работаю, кажется, неплохо, взысканий не имею, а исполнить все свои желания никак не могу...

Он размышлял вслух, думая, что его никто не слышит, но вдруг раздался голос — такой хриплый и простуженный, какой мог исходить только из сырой могилы.

— Здорово, приятель! — сказал из-под земли покойник. — Лежу и удивляюсь: живой, здоровый парень, а скулишь как баба. Интересно, что бы ты запел, если бы хоть день побыл в моем положении?

Живой парень был не из трусливых, иначе он не пришел бы ночью на кладбище, и он ответил своим обычным жалобным тоном:

— Конечно, тебе-то что? У тебя, наверно, нет никаких неудовлетворенных желаний.

— Вот именно, — сказал покойник, — решительно никаких. Даже закурить не хочется. Скучища такая, что можно с ума сойти.

— А ты кто такой? — спросил живой парень.

— А я Витька Малышкин. Не слышал? С машиностроительного. Я еще в самодеятельности выступал. Две недели назад похоронили. Вот так же на мокрой траве полежал и схватил воспаление легких.

— Да уж, незавидное твое положение, что и говорить, — вздохнул живой парень. — Да только и мне не сладко. Ну, стоит ли жить на свете, если нельзя удовлетворить все свои желания?

— Ой, приятель, стоит! — твердо сказал покойник. — Но если тебе совсем невтерпеж, то, так и быть, отдай-ка ты мне свои неудовлетворенные желания, пусть они терзают меня — мне уж хуже не будет.

— Шутишь? — спросил живой парень. — И у меня не останется никаких неудовлетворенных желаний?

— Будь уверен! — сказал покойник. — Решительно никаких.

— Ну что ж, — сказал живой парень, — если ты такой хороший товарищ, так бери поскорее себе все мои неудовлетворенные желания, потому что тебе с ними даже веселее будет лежать в могиле. Так что и я выгадаю и ты не прогадаешь.

— Пожалуйста! — сказал покойник. — Почему мертвому не пострадать за живого, разве мало живые страдали за мертвых?

И как только он это сказал, взошла луна, осветив кресты и могильные памятники, и в тот же миг все неудовлетворенные желания живого пария перешли к покойнику, а у живого парня остались только удовлетворенные желания.

— Ну как, — деловито спросил покойник, — порядок? Теперь у тебя больше нет никаких неудовлетворенных желаний? А то, может, что-нибудь позабыл, так давай вспоминай, пока не поздно!

Но ни одного неудовлетворенного желания живой парень найти в себе больше не мог.

А покойнику вдруг захотелось купить мотоцикл, жениться на Мане Пальчик, сниматься в кино, стать чемпионом мира по плаванию. И еще появилось столько разных желаний, что даже не перечислить.

Ему не терпелось исполнить их поскорей, но об этом нечего было и думать, пока он лежал в могиле. И

он стал разгребать руками землю и к утру вылез из могилы.

Вид у него был довольно жалкий. Небритый, с заострившимся носиком, маленький и худенький, он дрожал в своем помятом пиджачке от неудовлетворенных желаний, зверского аппетита и утреннего холода.

— Скорей дай закурить, две недели не курил, — сказал он живому парню и, подхлестываемый своими желаниями, помчался к трамвайной остановке.

Как раз. в это время проходил по кладбищу сторож. Он увидел, что кто-то со всех ног бежит к воротам, и это показалось ему подозрительным.

— Эй, ты! — кричал он. — Остановись! Кто такой?

— Не беспокойся, папаша, всё в порядке! — крикнул покойник. — Я покойник Витька Малышкин. Трамвай уйдет!

— Куда же ты бежишь, если ты покойник? — кричал сторож. — Остановись, а то свистеть буду!

— Трамвай уйдет! — кричал покойник. — Спешу! — И он вскочил на заднюю площадку трамвая и помахал сторожу рукой.

— Эге! — сказал сторож. — Вижу я, какой ты покойник! Нет, сынок, меня не проведешь, двадцать лет служу на кладбище, уж я-то могу отличить, кто живой, а кто покойник!

И пошел сторож по кладбищу дальше.

А дальше он увидел разрытую могилу и возле нее живого парня.

— Эй, ты! — сказал сторож. — Чего разлегся? Живой или мертвый?

— Живой, — сказал живой парень.

— Так чего же ты не встаешь, если живой? — спросил сторож.

— Нет у меня желания встать, — сказал живой парень.

— Странно, — сказал сторож. — А на работу не опоздаешь?

— Нет у меня желания идти на работу, — сказал живой парень.

— Очень странно, — сказал сторож, почесал седой затылок и стал закуривать. — Ну что ж, коли так, давай лежи. А закурить хочешь?

— Нет у меня желания закурить, — сказал живой парень.

— Эге! — сказал сторож. — Вижу я, какой ты живой! Нет, сынок, меня не проведешь, двадцать лет служу на кладбище, уж я-то могу отличить, кто живой, а кто покойник!

И, подивившись, что покойник лежит не в могиле, он зарыл живого парня в землю.

А Витька Малышкин и сейчас работает на машиностроительном заводе. Он мечтает купить мотоцикл, жениться на Мане Пальчик, сниматься в кино, стать чемпионом мира по плаванию. И еще у него столько разных желаний, что даже не перечислить.

Все эти желания не дают ему покоя.

Но он считает себя очень счастливым.

И когда он приходит в Дом культуры — маленький, худенький и веселый, — то весь вечер танцует, смеется и шутит с красавицей Маней Пальчик, а у стены грустят и злятся шесть офицеров, пять инженеров, четыре студента, три слесаря, два ремесленника и один председатель завкома.

БЕДНЫЙ ШУРИК ПЕТРОВ

Есть улицы, которые славятся своими зданиями. Есть улицы, которые славятся своими садами. А наша улица славилась своими пареньками. Все пареньки с нашей улицы были как на подбор: белокурые, ясноглазые, веселые. Стоило одному из них записаться в кружок бальных танцев, как сразу же все записывались в кружок бальных танцев. Стоило одному насвистать новый мотив, как сразу и все насвистывали новый мотив. Стоило одному купить шляпу, как сразу все покупали шляпы.

И только Шурик Петров, который недавно окончил ремесленное училище, был непохож на всех.

А между тем всё у него было, как у всех: волосы — белокурые; глаза — ясные; нос — веселый, чуть вздернутый; работал он, как и все, на заводе; любил, как и все, ходить в кино, играть в волейбол, покупать мороженое, ухаживать за девушками.

Но хотя всё у него было как у всех, делал он всё не как все.

Все зачесывали свои белокурые волосы набок, а он их стриг под машинку.

Все по воскресеньям ходили на танцы, а он в это время играл в шахматы.

Все щеголяли в синих костюмах, желтых ботинках и фетровых шляпах, а он — в простой гимнастерке, спортивных тапочках и форменной фуражке.

Все, ухаживая за девушками, сразу признавались им в любви, а он, ухаживая за девушкой, честно признался, что просто ему дома было скучно сидеть, вот и решил он за кем-то поухаживать.

А эта девушка была красавицей Катенькой, и кто бы ни увидел ее, тот сразу влюблялся в Катеньку, если, конечно, уже не был влюблен в другую девушку.

И Катенька Шурику Петрову резонно ответила:

— Если вам просто дома скучно сидеть, то пошли бы вы в парк культуры и отдыха, а за мною и без вас есть кому ухаживать.

Услышав такой ответ, Шурик Петров разгладил под ремнем гимнастерку, сдвинул на затылок фуражку и сказал:

— А почему бы нам вместе не пойти в парк культуры и отдыха?

Но Катенька оглядела его с фуражки до тапочек и, вздернув носик, сказала:

— Как же я с вами пойду, когда у вас нет ни такого костюма, как у всех, ни таких ботинок, ни такой шляпы?

И она вскочила в трамвай и помахала оттуда своим нежным розовым пальчиком перед своим вздорным девичьим носиком.

А Шурик Петров остался на трамвайной остановке. И пошел домой опечаленный.

Как раз в это время пареньки с нашей улицы шли в Дом культуры на танцы. Увидев, что Шурик Петров опечален, они окружили его и спросили, что с ним случилось.

И он рассказал, что с ним случилось.

— Что ж, — сказал один славный паренек, — правильно отшила тебя Катенька. Ведь тем-то и славятся пареньки с нашей улицы, что все как один. А раз все как один, то и один должен быть как все. Логично?

И так как Шурику Петрову показалось, что это вполне логично, то во вторник он пошел в магазин и вечером щеголял, как и все, в синем костюме, желтых ботинках и фетровой шляпе.

А в среду сходил в Дом культуры и записался в кружок бальных танцев.

А в четверг, как и все, насвистывал новый мотив.

А к пятнице отросли его белокурые волосы, но он не подстриг их под машинку, а зачесал, как и все, набок.

А в субботу он стал так похож на всех других пареньков с нашей улицы, что когда сфотографировался, то его карточку отдали другому пареньку, и тот думал, что это его карточка, а Шурику Петрову отдали карточку другого паренька, и Шурик Петров думал, что это его карточка.

А в воскресенье он пришел в Дом культуры на танцы.

Танцы еще не начались, но уже гремела радиола, звенели подвески люстр, и зеркала меж колонн отражали белокурых, ясноглазых и веселых пареньков с нашей улицы, которые пришли сюда в своих синих костюмах, полосатых галстуках и желтых ботинках.

Это были славные пареньки, и Шурик Петров глядел на себя и на всех и думал: «Ну где еще есть такие славные, такие дружные пареньки?» И только одно его смущало: он не знал, кто из всех — он. Он искал себя среди всех — и не мог найти, и начал уже беспокоиться, но в это время появилась Катенька, он бросился к ней и схватил ее за руку. И теперь он твердо знал, что он — это тот, кто держит Катеньку за руку.

Это знал он, но этого не знала она.

— Здравствуйте, Катенька, — сказал Шурик Петров, — я так соскучился, я не видел вас целую неделю.

— Почему вы меня не видели, — спросила она, — если каждый вечер мы с вами ходим в парк культуры и отдыха слушать соловьев?

— Нет, Катенька, — сказал он, — вы ошиблись. Я еще ни разу не ходил с вами в парк культуры и отдыха. Но сегодня, если только вы согласитесь, я готов слушать соловьев хоть всю ночь.

— Ну что ж, — сказала она, — когда кончатся танцы, можно пойти и послушать соловьев.

Так они разговаривали, танцуя вальс, фокстрот и польку, а как только кончились танцы, Шурик Петров поспешил в гардероб, чтобы раньше других получить свою шляпу. Но когда он получил свою шляпу, то увидел, что Катенька уже выходит на улицу с белокурым, ясноглазым пареньком в синем костюме, желтых ботинках и фетровой шляпе.

— Постойте, Катенька! — закричал Шурик Петров. — Вы обещали пойти со мной, а уходите с кем-то другим!

— Почему же с другим? — удивилась она. — Я ухожу с вами.

— Как же со мной? — сказал он, чуть не плача. — Ведь я вот где, а он — это вовсе не я.

И тот паренек подтвердил:

— Конечно, я — это не ты.

— Вот видите, — сказал Шурик Петров. — Он сам говорит, что он — это не я. А кто вас пригласил пойти слушать соловьев?

— Я пригласил, — сказал паренек.

— Нет, я пригласил, — сказал Шурик Петров.

И пока они спорили, вокруг них собрались все другие пареньки с нашей улицы и сказали:

— Да хватит вам спорить. Твоя как фамилия?

— Александр Петров, — сказал Шурик Петров.

— А твоя?

— Петр Александров, — сказал паренек.

— Это кто Петр Александров? — спросила Катенька. — Разве ты Петр Александров? — спросила она у паренька. — Это ты Петр Александров, — сказала она Шурику.

— Нет, я Александр Петров, — сказал Шурик Петров.

— А ну, предъяви паспорт, — потребовали пареньки.

Но пока он искал паспорт, другой паренек увел красавицу Катеньку, и, когда Шурик Петров мрачно сказал, что он не взял с собой паспорта, возле него уже не было Катеньки, а были только славные пареньки с нашей улицы.

— Ну, чего нос повесил? — дружелюбно сказали они. — Выше голову, Петр Александров! Давай пошли домой.

— Я не Петр Александров, — сказал Шурик Петров, — я Александр Петров.

— Брось вкручивать! — сказали они. — Вон где Александр Петров! Его уже и след простыл. Он уже, наверное, целуется с Катенькой в парке. А ты — Петр Александров, так что унывать у тебя, брат, нет никаких причин.

— Как же нет причин, — воскликнул Шурик Петров, — когда я теперь не знаю, кто я?

— Ну и чудак! — сказали пареньки с нашей улицы. — А на что же милиция? В милиции, брат, установят твою личность в два счета. А ну пошли в милицию!

И вышли на площадь.

А на площади в этот час было много народу, — казалось, будто все юноши и девушки, сколько их есть в городе, пришли в эту теплую ночь на площадь к Дому культуры, где желтые фонари трепетали в зеленой листве деревьев.

Одни возвращались с танцев, другие — из театра, третьи были в кино, четвертые — просто так, неторопливо гуляли среди веселого и пестрого потока. Все были различно одеты, смеялись разными голосами, напевали разные песни и уже издали узнавали друг друга, потому что каждый отличался от всех и все отличались от каждого.

Только пареньки с нашей улицы были все как один. И все как один они шли в милицию, чтобы одного отличить от всех.

И вся площадь потешалась над ними.

ПИРОГ С КАПУСТОЙ

Стоит мне проглотить кусочек пирога с капустой, как сразу вспоминается отрочество, общежитие и далекий, как небо, потолок с тремя крылатыми и пухлыми амурами. Между ними восседала величественная особа, чуть прикрытая голубой прозрачной рубашкой. За ее громадные размеры и важную осанку мы ее прозвали тетей Настей, как звали нашу усатую повариху,

которая пекла такой пирог с капустой, что просто вспомнить о нем невозможно без душевного волнения.

Что это был за пирог с капустой! Пышный, мягкий, сдобный, с золотистой корочкой, рассыпавшейся раньше, чем прикоснешься к ней зубами, с душистой и сочной капустой, которая таяла во рту, отгоняя всякие мрачные мысли.

Мы так его любили, что нам ничего другого не надо было: ни супа, ни каши, ни котлет, ни чаю.

И когда мы съедали свой кусок пирога с капустой, то даже наш долговязый тихоня и скромник Петя Коржик, вставая из-за стола, говорил мечтательно и проникновенно:

— Ну и пирог был сегодня, ребята! — и его нежные уши пламенели от удовольствия.

А умный Миша, который умел объяснить всё на свете, изрекал:

— Всё ясно, товарищи! Пирог с капустой наиболее соответствует разносторонним потребностям наших молодых организмов.

А горячий и восторженный красавчик Витя восклицал, ероша свои белокурые волосы:

— Если я стану когда-нибудь знаменитостью, братцы, я буду три раза в день есть пирог с капустой. Три раза в день — на завтрак, обед и ужин!

А глупый Ванечка, слушая это, облизывал свои ленивые губы и произносил:

— Хе!

И это могло означать что угодно.

Каждый раз, встречая нашу усатую повариху в кухне, кладовке или в коридоре, красавчик Витя становился перед ней на одно колено, как Ромео перед Джульеттой, и протягивал руки.

— Тетя Настя! — говорил он. — Испеките завтра пирог с капустой!

И она отвечала с высоты своего трехэтажного роста:

— Глупые вы мальчики! Разве я сама не люблю пирога с капустой! Только нельзя же каждый день кормить вас одним и тем же.

Но мы не понимали, почему нельзя.

И однажды во время обеда, когда все мы были в столовой и уже съели щи на первое и нам разносили котлеты с картофельным пюре на второе, Витя вдруг отодвинул стул, встал во весь рост и обратился ко всем с такой речью:

— Ребята! — сказал он. — Не пора ли нам поднять вопрос о пироге с капустой?

И от всех столиков закричали:

— Верно! Давай про пирог с капустой!

— Я хочу спросить, — сказал он, — почему нас нельзя каждый день кормить пирогом с капустой? Животы у нас заболят, что ли?

И от всех столиков кричали:

— Не заболят!

— Или мы растолстеем, как эти амуры на потолке?

И от всех столиков кричали:

— Не растолстеем!

Решение было принято под гул всеобщего одобрения.

Решение гласило: просить тетю Настю ежедневно кормить нас пирогом с капустой.

На следующий день был испечен пирог с капустой.

Что это был за пирог!

Это был не просто пирог с капустой, эго было нечто такое сочное, вкусное, пышное, что невозможно выразить простым человеческим словом. Какими тусклыми

и жалкими казались слова по сравнению с теми мелкими кусочками крутого яйца, которые попадались в капусте! Разве толстое и ленивое слово «пирог», или деловито-торопливое слово «начинка», или приземистое и хозяйственное — «капуста» могли передать то ощущение, которое можно познать только губами, языком и нёбом?

— Ура пирогу! — кричали мы после завтрака.

— Слава капусте! — кричали мы после обеда.

— Да здравствует тетя Настя! — кричали мы после ужина, когда она сама вышла из кухни в столовую и остановилась возле двери, большая, тяжелая и гордая, как буфет с посудой.

И на следующий день был пирог с капустой. Правда, корочка была уже не такая золотистая и рассыпчатая, и капуста как будто чуть-чуть недосолена, но всё-таки это был замечательный пирог, и мы ели его да похваливали.

На следующий день нас опять кормили пирогом с капустой. Но это было совсем не то, что прежде. Капуста уже не отгоняла мрачных мыслей, а корочка не рассыпалась, даже когда надкусишь ее зубами.

— Что же это, ребята! — говорил красавчик Витя. — Сколько мы бились, чтобы нас каждый день кормили пирогом с капустой, а когда добились, так пирог стал совсем другим. Как же это так получается, братцы?

А умный Миша сходил в библиотеку, заглянул в энциклопедический словарь на букву «П», прочитал объяснение слова «пирог» и объяснение слова «пища» и, надев очки, потому что, когда на его маленьком носике сидели большие очки, его голос звучал более весско и убедительно, вынес такое суждение:

— Всё ясно, товарищи! Процесс пищеварения в нашем трудовом коллективе нарушен! Надо объясниться с тетей Настей!

Объясниться с тетей Настей поручили красавчику Вите.

Он пошел в кухню. Тетя Настя плавала в облаках пара. Он сказал ей так:

— Это довольно стыдно с вашей стороны, тетя Настя! Мы хвалим вас на собраниях, мы пишем о вас в стенгазете, а вы стали печь такой пирог с капустой, что его просто в рот взять невозможно.

Так он говорил, опустив глаза, потому что непристойно юноше, у которого еще не выросли усы, осуждать женщину, у которой уже выросли усы, но когда он поднял глаза, то увидел, что из-за облаков пара тетя Настя насмешливо шевелит своими усами.

— Глупые вы мальчики, — сказала она, — разве я не стараюсь?.. Уж я так стараюсь, так стараюсь... больше чем прежде.

И громадной красной рукой она продолжала замешивать тесто на завтра.

Но назавтра пирог был еще хуже.

Мы только отведали его по кусочку, как вдруг вскочил Витя и закричал:

— Ребята! Еще слишком свежи в нашей памяти воспоминания о том пироге с капустой, который мы ели раньше, чтобы называть пирогом с капустой эту запеканку с тряпками, которую нам подали сегодня!

— Не надо! — сказал добросердечный Петя Коржик. — Не надо говорить такие слова, — и он поглядел на тетю Настю, которая появилась в дверях, скрестив на могучей груди свои могучие руки. — Хотя пирог с капустой сегодня действительно несъедобен, — гово-

рил Петя Коржик, — но мы не станем обижать вас, тетя Настя; мы возьмем себя в руки и будем терпеть, и будем есть этот пирог, потому что мы любим и уважаем вас, тетя Настя.

Но красавчик Витя с ним не согласился.

— Нет! — воскликнул он, размахивая вилкой. — Мы не должны терпеть, а должны бороться. И за пирог с капустой мы будем бороться, он стоит того, ребята! — И, обращаясь к тете Насте, он сурово спросил: — Что случилось, тетя Настя? Скажите нам чистосердечно: почему вы разучились печь пирог с капустой?

Мы все молчали, ожидая ответа тети Насти, как вдруг раздался голос умного Миши. Уже давно, надев очки, он рассматривал свой кусок пирога с капустой: корочку отдельно, капусту отдельно. А когда всё рассмотрел, то сказал так:

— Тетя Настя не разучилась печь пирог с капустой. Внимательно рассмотрев тесто и начинку, я пришел к выводу, товарищи, что нынешний пирог ничем не отличается от прежнего. Вот в этом-то всё и дело!

— Хе! — сказал глупый Ванечка.

— Не может быть, — сказал Петя Коржик.

— Всё совершенно ясно, — сказал умный Миша, сверкая очками. — Мы растем, наши потребности растут, а пирог остается таким же, как прежде. Как же он может удовлетворить растущие потребности наших молодых организмов? Предлагаю: отказаться от употребления в пищу пирога с капустой до тех пор, пока тетя Настя не повысит его качества до уровня наших возросших потребностей. Сколько вам на это надо времени, тетя Настя?

— Месяц, — сказала тетя Настя. — Месяц, никак не меньше.

И на месяц мы отказались от пирога с капустой.

Это был мрачный месяц. О нем не хочется вспоминать.

Иногда поздно вечером, когда мы укладывались в постель и тушили свет и только уличный фонарь освещал через окно наши полки с книгами, и чернильное пятно на столе, и футбольный мяч, закатившийся в угол, красавчик Витя поднимал голову и тихо спрашивал:

— Предадимся?

— Предадимся! — отвечал Петя Коржик и садился на своей кровати, обняв острые коленки.

— Предадимся! — говорил умный Миша, надевая очки.

И даже глупый Ванечка ворочался под одеялом.

И мы предавались незабываемым воспоминаниям о нашем прежнем пироге с капустой, о его золотистой корочке и сочной начинке, перед которыми меркнут все другие воспоминания отрочества.

Так шли день за днем и неделя за неделей.

И, наконец, наступил тот долгожданный день, когда тетя Настя вошла в столовую и на высоте ее третьего этажа, в могучих руках с засученными рукавами, был громадный пирог с капустой. И уже по одному тому, как горделиво она шевелила усами, мы поняли, что за этот пирог с капустой тете Насте не придется краснеть.

И мы не обманулись.

Стоило нам только отведать его, как мы убедились, что золотистая корочка рассыпается раньше, чем прикоснешься к ней зубами, а душистая и сочная капуста тает во рту, отгоняя всякие мрачные мысли.

— Ну и пирог с капустой был сегодня, ребята! — мечтательно и проникновенно сказал Петя Коржик, вставая из-за стола.

А умный Миша, который умел объяснить всё на свете, надел очки и произнес такую речь:

— Всё совершенно ясно. Тетя Настя учла наши критические замечания. Тетя Настя повысила качество пирога до уровня наших возросших потребностей. И скажем тете Насте за это спасибо, ребята!

И мы сказали тете Насте: «Спасибо!»

МОЙ ДРУГ ЛЕНЯ ВЬЮШКИН И ЗЛЫЕ СОБАКИ

На нашей улице живет немало злых собак и разнузданных хулиганов. Они, как известно, не обладают ни ясным разумом, ни нравственными принципами, ни глубоким интеллектом. Поэтому им ничего не стоит без всякого повода наброситься на прохожего с лаем или бранью.

А Леня Вьюшкин, друг моей далекой юности, нынче ставший неплохим писателем, обладал ясным разумом, твердыми нравственными принципами и глубоким интеллектом. Он был высокий и красивый парень с русым чубом, а глаза у него были детские — простодушные и доверчивые. И что бы он ни делал: стоял ли

за станком в своей выцветшей гимнастерке, или шел после работы в университет с книжками в руках, или читал нам свои стихи, или танцевал с девушкой в клубе, — он вглядывался во всё с таким вниманием, будто вокруг него не было ничего случайного и незначительного, а решительно всё было чрезвычайно важным и значительным.

Помню даже, что умный Миша, который уже с самого раннего детства знал всё на свете и мог ответить на любой вопрос, как-то сказал Лене Вьюшкину:

— Видно, что недалекий ты человек, Леня Вьюшкин, если не умеешь отличить важное от неважного, значительное от незначительного и того, что заслуживает внимания, от того, что не заслуживает его. Брал бы ты пример с меня: я хоть и не учусь в университете, но прекрасно понимаю, что важным следует считать только то, что действительно важно, к незначительному не надо относиться, как к значительному, а смотреть стоит не на всё, что попало, а только на то, что заслуживает внимания.

Но Леня Вьюшкин ничего не ответил на это умному Мише, только посмотрел на него своими доверчивыми глазами так, будто тот сказал что-то очень важное и заслуживающее внимания.

Вот какой странный парень был наш Леня Вьюшкин. И когда, бывало, поздним вечером, возвращаясь из клуба или кино, мы встречали пьяных хулиганов, и они приставали к нам, пытаясь затеять драку, и у нас уже чесались руки, чтобы всыпать им по первое число, Леня Вьюшкин останавливал нас такими словами:

— Постойте, ребята! Они хотят с нами драться потому, что они пьяные хулиганы, — это мне понятно. Но ведь мы с вами не хулиганы и не пьяные, зачем же мы

будем драться? Давайте лучше попробуем поговорить с ними по-хорошему.

И он никогда ни с кем не дрался, пытаясь на всех воздействовать своим личным примером и разумными доводами. И если иной раз злая собака, сорвавшись с цепи, выскакивала из подворотни и бросалась на него с отчаянным лаем, норовя схватить его за ногу, то он останавливался перед ней, исполненный чувства превосходства человека над собакой, и старался убедить собаку, что у нее нет решительно никаких причин относиться к нему враждебно.

А собака в это время рвала в клочья его брюки.

И все ребята с нашей улицы потешались над ним.

— Ну и чудак ты, парень, — говорил умный Миша, — разве так надо обращаться с собаками?

— Нет, наверно, не так, — печально отвечал Леня Вьюшкин.

— Разве ты не видишь, что твой личный пример и разумные доводы на собак не действуют?

— Вижу, — отвечал Леня Вьюшкин, зашивая порванные брюки. — Теперь я и сам убедился, что с собаками надо обращаться иначе.

И он стал обращаться с собаками иначе: заметив собаку, он спешил поскорей перейти на другую сторону улицы или шмыгнуть за угол.

Но, видя, что он убегает от собаки, ребята потешались над ним еще больше.

— Ну п трусливый ты парень, — говорил умный Миша, — просто позоришь всю нашу улицу. Такой большой и сильный, а не можешь справиться с какой-то собакой!

— А как с ней справиться, научи! — просил Леня Вьюшкин. — Ведь не бросаться же мне на нее, как она бросается на меня?

— А почему бы и нет, если к этому принуждают обстоятельства? — говорил умный Миша.

— Потому что я не собака, чтобы грызться с собаками, — отвечал Леня Вьюшкин, — потому что я человек и не хочу унижать своего человеческого достоинства.

— Какое же у тебя достоинство, если даже собаки тебя не боятся! — смеялся умный Миша. — Раз ты человек, то все собаки должны тебя бояться, а если ты от них убегаешь, то этим ты действительно унижаешь свое человеческое достоинство.

И так как умный Миша объяснял это весьма толково, и все ребята вполне соглашались с ним, и ребят на нашей улице было много, а Леня Вьюшкин один, и ему очень не хотелось унижать свое человеческое достоинство, то постепенно он, не хуже других, научился обращаться с разнузданными хулиганами и злыми собаками.

Теперь стоит только собаке выскочить из подворотни, как он швыряет на землю свои стихи, и университетский значок, и ясный разум, и нравственные принципы, и глубокий интеллект, и, став на четвереньки, бросается к собаке и тоже лает на нее, и норовит схватить ее зубами за лапу, так что иногда ему удается даже вырвать у нее клок шерсти, и тогда собака убегает, поджав хвост и жалобно скуля.

А умный Миша говорит ему:

— Вот теперь ты научился обращаться с собаками, теперь ты не уронил своего человеческого достоинства.

И все ребята с нашей улицы глядят на Леню Выошкина с уважением.

А он, смущенно пряча от нас доверчивые глаза, подбирает с земли свой ясный разум, и нравственные принципы, и глубокий интеллект, и стихи, и универ-

ситетский значок, — и идет дальше по своим разумным, нравственным и интеллектуальным делам.

А я так и не научился обращаться с собаками и, заметив собаку, стараюсь перейти поскорей на другую сторону улицы или шмыгнуть за угол. И если даже все ребята с нашей улицы будут улюлюкать мне вслед, и если даже собаки всей стаей бросятся на меня, чтобы перегрызть мне горло, я всё-таки не стану на четвереньки, и не залаю по-собачьи, и предпочту лучше умереть как человек, чем грызться с собаками как собака.

— Так ты хочешь умереть как человек? — тихо спросил меня Леня Вьюшкин, выслушав эту недобрую сказку.

— Нет, я хочу жить как человек, — ответил я снисходительно.

Он с тревожным вниманием смотрел на меня своими доверчивыми глазами.

— Так ты хочешь жить как человек? — глухо повторил он и долго молчал, о чем-то думая. Только изредка, услышав злое рычанье собак, выглядывавших из подворотен, он и сам угрожающе рычал, оскалив зубы, и тогда собаки, поджав хвосты, прятались обратно в подворотни. — Ну что ж, — сказал он с горечью, — пусть будет так. Я буду жить как собака, чтобы ты мог жить как человек.

И он пошел от меня походкой сильного, красивого, уверенного в себе человека, а я, пугливо поглядывая в подворотни, стоял как жалкая побитая собака.

— Ну, и что же ты этим хочешь сказать? — спросил меня умный Миша, выслушав эту грустную сказку. — Кто же из вас, по-твоему, прав, ты или он?

Но я не знаю, что на это ответить, и я не знаю, кто из нас прав, и долгие-долгие ночи я провожу без сна, прислушиваясь к яростному лаю собак, и сердце мое отзывается на него горькой болью. И я не могу уснуть, и мечусь по комнате, не находя себе места. И стучу в твою дверь, и бужу тебя, и прошу: помоги мне своим добрым и умным словом, мой неведомый друг — читатель.

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ

На моей руке живут пять пальцев. Это очень беспокойные пальцы. Я не могу ни на минуту оставить их без присмотра, чтобы они не повздорили между собой или не натворили какой-нибудь беды. Сколько раз я просыпался среди ночи, чувствуя странное движение на своей руке, и видел, что пальцы толкаются и пинают друг друга.

— Чего разлегся, как барин! — кричал Указательный палец и давал подзатыльник Среднему.

— Куда же мне деваться? — с достоинством спрашивал Средний, подвигаясь поближе к Безымянному.

Но мой Безымянный палец ужасный франт и чистюля.

— Не приближайся ко мне, — говорил он брезгливо, — ведь на тебе чернила.

А Мизинец смеялся, как будто его щекотали, и пищал:

— Ой, сейчас вы меня совсем столкнете с ладони!

Так они возились, пока я не сжимал их в кулак.

А однажды я проснулся от короткой и острой боли. «Что за черт, — подумал я, — обо что я мог уколоться?»

Пальцы тихонько лежали под одеялом, тесно прижимаясь друг к другу и прикидываясь спящими. Но я чувствовал, что они не спят, а Указательный всё ворочался и ворочался, будто не мог найти себе места.

— Ну что, бродяга, — сказал я ему, — обо что ты укололся?

— Сам не знаю, — ответил он виноватым и лживым тоном. — Наверно, в постель попала иголка.

Я зажег свет, осмотрел простыню и одеяло, но ничего не нашел. И вдруг обратил внимание на тумбочку, стоявшую возле кровати. На ней острием вверх лежала канцелярская кнопка.

— Ты лазал туда? — спросил я у пальца.

Он отогнул кверху свой кончик и смело поглядел мне в глаза.

— Да, — сказал он, — простите. Мне вдруг очень захотелось побродить одному. Ведь я еще никогда в жизни ничего не предпринимал самостоятельно. И я решил попробовать. Я вылез из-под одеяла. В полной темноте. Сердце так ужасно билось. Но я всё полз, пока

не очутился на краю кровати. Остальные пальцы отговаривали меня, они тянули меня назад, они цеплялись за простыню, но я всё-таки перебрался на тумбочку. У меня закружилась голова от счастья: я мог делать что хочу. Вы крепко спали и ничего не чувствовали. Я мог потрогать лампу, перевернуть страницу книги, сдвинуть коробок спичек. Я даже мог, если бы захотел, спрятаться от вас под кровать. Пальцы уговаривали меня: «Скорее лезь обратно, а то он ужасно рассердится». Но я говорил, что вы не рассердитесь, наоборот, вы очень обрадуетесь, когда узнаете, что у вас есть такой самостоятельный палец. Представьте себе, что все ваши пальцы станут такими же, тогда вы будете спать, или читать книгу, или сидеть в кино, а мы в это время сможем сами что-нибудь делать. Ну, например, пришьем пуговицу или напишем сказку...

Он стоял передо мной, такой маленький, доверчивый и счастливый, что я не мог на него рассердиться.

— Ты славный палец, — сказал я, слизнув с него капельку крови. — Я очень рад, что на этот раз ты отделался только легким уколом, но я совсем не желаю когда-нибудь лишиться такого смелого пальца.

Поговорив так со своим пальцем, я снова потушил свет, и мы проспали до утра.

На следующий день, читая книгу, я заметил, что мои пальцы, думая, будто я не обращаю на них внимания, вели между собой странный разговор.

— Этой ночью, ребята, я понял, — говорил Указательный палец, — что пальцы вовсе не так уж зависят от человека.

Безымянный, старавшийся в это время разглядеть свое отражение в стеклянной чернильнице, сказал легкомысленно и небрежно:

— Мы зависим от него не больше, чем он от нас. Интересно, что бы он стал делать, если бы мы отказались умывать ему лицо и расчесывать волосы?

— Послушать вас, просто уши вянут, — вмешался толстяк Большой палец. — Если бы у вас под ногтями была хоть капля разума, так вы не воображали бы о себе, а понимали, что мы — это только конечности человека, и всё, и не о чем говорить.

Тут вступил в разговор Средний палец. Он перелистал за мою жизнь столько разных книг, что был весьма раздумчивым пальцем.

— А вам, ребята, никогда не приходило в голову, — спросил он, — как поступает человек в темноте? Он протягивает вперед руку, а рука протягивает пальцы. И мы ведем за собой человека.

Эта мысль была такой ошеломляющей, что все пальцы растопырились от удивления.

— Именно так! — закричал Указательный. — Мы ведем его за собой.

Мизинец был очень доволен.

— Вот так да! — смеялся он. — Кто бы мог подумать, что я веду за собой человека, да еще такого, который пишет сказки!

— Кто пишет сказки? — удивился Средний палец. — Разве он пишет сказки? Он сочиняет их, с этим я спорить не буду, но пишем-то всё-таки мы!

А Большой палец, этот толстобрюхий наглец, подтвердил:

— Это верно, пишем-то мы. Вон и сейчас еще у меня вся морда в чернилах!

Средний палец сказал:

— Так давайте сделаем вывод: мы имеем такое же право на независимость, как и сам человек.

— А зачем нам независимость? — спросил Большой палец. — Что нам с ней делать?

— О, независимость! — воскликнул Указательный. — Я бы знал, что с ней делать!

Безымянный мечтал:

— Я бы сделал маникюр. Я бы покрыл свой ноготь лаком. Я бы купил перстень.

— Тьфу, — сказал толстяк, — просто противно слушать.

Но за Безымянный вступился Средний.

— Ты зря на него нападаешь. Ведь только для того и нужна независимость, чтобы делать всё, что мы пожелаем, — говорил он. — Захотим — будем делать маникюр, захотим — будем щипаться, захотим — чесаться. А если вдруг нам придет в голову устроить комбинацию из трех пальцев, так пожалуйста! Всё в наших руках!

— Это, конечно, очень заманчиво — делать всё, что вздумается, — сказал Большой палец, — но ведь это бесплодные мечты.

— Как сказать! — ответил Средний. — Если человеку объяснить как следует...

— А что? Может, попробуем? — перебил Указательный палец. — Давай, братишка, ты у нас такой начитанный, действуй!

И Средний палец стал действовать.

Для разговора со мной он выбрал такое время, когда я заканчивал одну из своих сказок. В этой сказке я, подобно другим писателям, довольно красноречиво рассуждал о независимости личности. Мне оставалось дописать только страницу, и я торопливо набрасывал строку за строкой, как вдруг Большой, Указательный и Средний пальцы, державшие перо, разогнулись, и перо выпало из руки, расплескав на бумаге кляксу.

— В чем дело, ребята? — спросил я.

Сначала мне никто не ответил. Большой палец, тяжко вздохнув, сделал какой-то знак Безымянному и Мизинцу, и все три пальца уткнулись в ладонь. Только Средний и Указательный стояли, не сгибая суставы, еще вымазанные после работы чернилами, взволнованные и бесстрашные.

— Ну? — спросил я у них.

Средний палец ответил:

— Ваша сказка почти дописана. А для чего? Разве она может принести кому-нибудь независимость?

— Нет, — сказал я, — но она может пробудить стремление к независимости.

Он спросил:

— А стремление к независимости — это такое же благо, как и сама независимость?

Черт возьми! Ну что на это ответишь? Не дай бог никому иметь на своей руке такой рассудительный палец.

Он смотрел на меня, как мне показалось, с усмешкой, этот маленький дьявол с чернильным пятном на боку.

— Чего вы хотите от меня? — спросил я.

Он сказал с достоинством:

— Независимости!

— Независимости! — восторженно повторил Указательный.

Мизинец, сгорая от любопытства, на секунду приподнял свой розовый смешливый кончик, взглянул на меня и сразу же опять свернулся колечком.

Пальцы ждали моего решения. Я разглядывал их, моих разумных помощников, моих маленьких верных товарищей, с ногтями, обкусанными в часы раздумий и неудач. Я вспоминал всю нашу совместную жизнь:

когда мне было плохо — и им плохо; когда мне хорошо — и им хорошо. Я делился с ними всеми горестями и всеми благами. Как же я мог отказать им в том, что имел сам, — в независимости?

И я махнул рукой:

— Валяйте!

— Ура! — закричал Указательный. — Разогните спины, братишки! Больше мы не зависим от человека. Он сам по себе, а мы сами по себе.

Безымянный палец плакал от счастья. Средний бросился на грудь Большому. Мизинец отплясывал какой-то лихой танец. Указательный крикнул:

— А ну, ребята, щелчок в его честь!

И щелчок в мою честь прозвучал как салют.

Я подумал: «Так уж и быть, пусть этот день станет для них праздником. Сказку я допишу завтра, а сегодня не возьму в руки ни пера, ни книги — дам пальцам полный отдых: пойду гулять».

И вышел на улицу.

Мои пальцы выделывали черт знает что: они сжимались, разжимались, растопыривались, дергались, показывали прохожим фигу. А на углу Невского проспекта и Садовой улицы, в самом людном месте города, вдруг залезли за вырез рубашки и стали почесывать меня под лопаткой.

— Ну как же так, — уговаривал я их, — что вы, ребята, со мной делаете? Полезайте лучше в карман.

— Какая же в кармане независимость? — хохотал Мизинец.

А Указательный палец сказал:

— Нет уж, спасибо! Теперь вы в свой карман меня не заманите. Лучше я залезу в карман вон того прохожего. — И он весело потянулся к карману какого-то

толстенького человечка, важно шествовавшего под соломенной шляпой.

Я закричал:

— Назад! Сейчас же назад!

Но он уже уцепился за чужой карман, а меня успокаивал:

— Мы только заглянем туда. Мы ничего не возьмем. Чего вы волнуетесь?

Я отдернул руку и отскочил от прохожего, чуть не сбив с ног какую-то милую девушку, которая с тяжелой кошелкой, по-видимому, возвращалась из магазина.

— Ах, извините, пожалуйста, — сказал я ей и в это время услышал голос своего Безымянного пальца.

— Какие пальчики! — воскликнул он. — Боже мой, какие пальчики!

И все мои пять пальцев стиснули нежные пальчики девушки.

Девушка закричала:

— Нахал! Как вам не стыдно?

Я закричал:

— Хулиганы! Сейчас же отпустите ее руку!

Где тут! Мой Безымянный палец уже обвился вокруг девичьего мизинчика. Большой палец прижался своим толстым брюхом к указательному пальчику девушки. И даже Мизинец, мой наивный малыш Мизинец, не желая отставать от других, игриво щекотал девичью ладонь.

Я опять отдернул руку, но мои пальцы не выпустили пальчиков разгневанной девушки. Ее кошелка метнулась над моей головой, и крупные картофелины посыпались на меня, как камни.

— Так его! — кричали прохожие. — Так его, нахала, чтобы рукам волю не давал!

Я потерял очки. Я не стал их искать. Я побежал прочь. Стыд и ужас бежали за мной. Я вскочил в трамвай, отдышался и только тогда сказал своим пальцам тихо, чтобы не слышали другие пассажиры:

— Ну, знаете... это черт знает что. Всё-таки вы должны хоть немного считаться со мной.

— Почему? — вызывающе спросил Средний палец. — Разве вы считаетесь с нами, когда знакомитесь с девушками?

— Тише, — сказал я, — мы в трамвае. Что подумают люди?

Но Большой палец орал на весь вагон:

— Наплевать на людей! Я только успел прижаться к тому пальчику, как вы меня от; него оторвали...

Я не знал, куда деться от стыда. Заметив, что трамвай остановился, я стал протискиваться к выходу. Я умолял свои пальцы:

— Ну, пожалуйста! Ну, не надо! Не устраивайте скандала!

— Знаете что? — сказал Средний палец. — Мы вас не держим. Если вам не нравится наше поведение, так можете выйти на этой остановке, а мы поедем дальше.

Я уже был на площадке. Трамвай тронулся. Я на ходу выскочил из вагона. Но оторвать свои пальцы от поручня не мог.

— Скатертью дорога! — крикнул мне Указательный и обернулся к другим пальцам: — Держитесь, ребятки! Держитесь крепче!

Трамвай набирал скорость. Пальцы крепко вцепились в поручень. Безымянный увидел, что я бегу рядом с вагоном, и нетерпеливо крикнул:

— Да отцепись наконец! Вот навязался на нашу голову!

Но я не мог отцепиться от своих пальцев. Я бежал и кричал. И даже когда споткнулся, то не мог отпустить поручень.

Трамвай остановили. Мне помогли подняться и оторвали от поручня мои пальцы.

Пошатываясь, я побрел к панели. Я был. так напуган происшедшим, так обижен на свои пальцы и так слаб, что, добравшись до ступенек ближайшей парадной, сел там передохнуть.

Я вытер со лба пот и подумал: «В жизни не слышал ничего подобного!»

Пальцы лежали на моих коленях, враждебные и молчаливые.

Я думал: «Что мне делать со своими пальцами?»

Наверное, я думал вслух, потому что Средний палец ответил:

— Давай расстанемся мирно. Ведь живут же люди без пальцев.

Я сказал:

— Но пальцы без людей не живут.

В разговор вмешался Указательный.

— Это мы еще увидим, — ответил он с наглой насмешкой.

Люди! Вы тоже имеете пальцы. Я обращаюсь к вам. Вы поймете. Я не мог поступить иначе. Я крикнул:

— В карман, негодяи!

— Черта с два! — ответил Указательный палец и стал изгибаться, как припадочный.

— В кулак, проходимцы! — кричал я, потеряв самообладание. Но на помощь Указательному уже пришел Большой. Он принял вызывающую позу и насмешливо говорил:

— А ну сожми, попробуй!

И не успел я сжать пальцы в кулак, как они набросились на меня всей пятерней. Они рвали мои волосы, щелкали меня по лбу, щипали и царапали до крови. А прохожие, видя, что на ступеньках сидит человек и собственной рукой раздирает свое лицо, сочувственно говорили:

— Вот надрался, бедняга!

Только с помощью левой руки мне удалось сжать в кулак пальцы правой руки и запихать их в карман.

Исцарапанный и усталый, придавив левой рукой правый карман, я побрел домой.

Сначала я был слишком возбужден, чтобы прислушиваться к разговору пальцев в кармане. Да они, наверное, и не сразу начали разговаривать. Но, свернув с шумного Невского на свою тихую улицу, я различил в кармане шепот.

Я остановился. Затаил дыхание. И вот что услышал:

— В крайнем случае, можно попробовать выпрыгнуть в форточку утром, когда он будет проветривать комнату, — сказал Указательный палец.

— А если поймает? — спросил Безымянный.

— Тогда лучше ногтем под нож, чем опять в карман, — ответил Указательный.

— А я, ребята, всё обдумал и решил так, — сказал Большой палец: — вы бегите, а я останусь. Я вовсе не уверен, что без руки нам будет лучше, чем на руке. А потом — перчатка! Как же мы оставим здесь перчатку? Что мы будем делать зимой без перчатки?

— Негодяй! — сказал Указательный палец. — Мы потащим тебя силой. Не оставаться же всем из-за одного?

— Так это что же выходит, ребята? — с недоумением спросил Большой палец. — Раньше я зависел от него, а теперь завишу от вас. Какая же для меня разница?

— Очень большая разница, — объяснил Средний палец. — Если многие зависят от одного — это одно, а если один зависит от многих — это другое. А ты говоришь: нет разницы!

«Плохо дело, — думал я, — вон какие у них планы!»

Чтобы попасть в мою квартиру, надо открыть французский замок. Я хотел это сделать левой рукой, но не сумел. Тогда я наклонился к своему карману и спросил:

— Ну как, бандиты, откроете дверь? Или я сяду здесь на лестнице и буду ждать, пока кто-нибудь придет мне на помощь?

Пальцы пошептались. Ответил Средний палец:

— Откроем.

Я вынул кулак из кармана. Бледные, одеревеневшие пальцы еле двигались. Они чуть не выронили ключ. Дверь открылась.

«Слава богу! — подумал я. — Наконец-то я дома вместе со своими пальцами!»

Я захлопнул за собой дверь и в тот же миг услышал:

— Прощайте!

И почувствовал, что пальцы остались на лестнице.

С воплем толкнул я дверь обратно и втащил в квартиру свои полумертвые от боли пальцы.

Отчаянно кричал Мизинец.

— Ой, умираю! — кричал он. — Доктора мне! Умираю!

Безымянный тихо стонал. Средний был без сознания. Большой палец ревел на весь дом. Указательный молчал, стиснув зубы.

В эту ночь я долго не мог заснуть. В комнате было темно и тихо. Пальцы успокоились, они лежали рядом с моей головой на подушке, покорные и жалкие. Только иногда что-то бормотал во сне Мизинец.

И вдруг я услышал шепот:

— Вы не спите?

Кончик Указательного пальца коснулся моего лица.

Я повернул голову и в полумраке увидел его беспомощный ноготь.

— Вот лежу и думаю, и ничего не могу понять, — сказал он. — Зачем вы обманывали нас, сказав, что даете нам независимость? Разве такими вещами шутят? — И он заплакал с мучительной обидой и горьким доверием.

— Не надо плакать, — сказал я. — Не надо плакать, дружок. Ты же видишь, я тоже завишу от вас — так же, как вы зависите от меня. Мы все зависим друг от друга, и с этим уж ничего не поделаешь. — Так я говорил своему маленькому и смелому товарищу, и мне было очень жалко его, и я тоже чувствовал себя пальцем, своим собственным пальцем на собственной руке.

ПУП

Никите Мудрейко еще не было девятнадцати лет, но все другие предпосылки, чтобы стать выдающимся философом, у него уже были. Главная из этих предпосылок заключалась в том, что за девушками он не ухаживал, на коньках не катался, комнату за собой не убирал, танцевать не умел, в кино и театр не ходил, а ходил только на лекции, читал лишь научные книги и размышлял исключительно о таких предметах, которые имеют значение для всего человечества, например

о том, есть ли жизнь на других планетах, или — можно ли сделать кибернетического человека.

Размышляя о подобных вопросах, он нередко опаздывал на работу, знакомых принимал за незнакомых, а незнакомых принимал за знакомых.

Волосы у Никиты Мудрейко были всегда растрепаны, уши торчали, как раскрытые окна, а его длинная худая фигура отличалась одной весьма странной особенностью: что бы он ни надел на себя, всё оказывалось ему не по росту — или слишком коротким, или слишком широким. Но он не обращал на это никакого внимания, и если мы спрашивали у него: «Не перешить ли тебе, Мудрейко, пиджак?» или «Не пора ли тебе, Мудрейко, в баню?», он смотрел на нас сквозь свои очки как на сумасшедших и отвечал: «Просто я удивляюсь вам, ребята! Ну как вы можете говорить о бане, когда я размышляю сейчас о кибернетическом человеке?»

Но мы говорили ему о бане до тех пор, пока он всё-таки не сходил в баню.

А в бане случилось вот что.

Сняв майку и трусики и намылив шею, грудь и бока, он вдруг заметил на своем животе пуп.

До сих пор он своего пупа не замечал и даже не подозревал о его существовании, так как в баню ходил редко, а приходя в баню, размышлял только о таких предметах, которые имеют значение для всего человечества.

А его пуп, как известно, никакого значения для всего человечества не имел.

Заметив свой пуп, Никита Мудрейко был чрезвычайно удивлен, и, забыв, что вода в шайке остывает, он сбегал в раздевалку за очками и стал рассматривать свое открытие, дивясь его странным очертаниям.

Он сидел на мокрой скамье, голый, костлявый и намыленный, рассматривал свой пуп сверху, заглядывал на него справа и слева, и чем больше он его рассматривал, тем больше дивился тому, что у него есть пуп.

Он вернулся домой весь в мыле, и мы еще не успели сказать ему: «С легким паром!», как он воскликнул:

— Знаете, ребята, у меня есть пуп!

— Пуп? — спросили мы.

— Честное слово, пуп, — сказал он. — Не верите? Хотите, покажу? — И он стал задирать майку, чтобы показать нам свой пуп.

— Почему же не поверить, — сказали мы, — вполне вероятно. Только что из того?

— Как что из того? — спросил он пораженный. — Если бы вы только видели, какой у меня пуп: маленький, кругленький, как пуговка.

— Пуп как пуп, — сказали мы. — Ложись-ка, брат, спать!

Но он не лег спать, а полночи шагал по комнате в майке и трусиках, длинноногий, растрепанный и взволнованный, и всё поглядывал на свой пуп, как бы желая убедиться, что его пуп никуда не делся.

А утром Никиты Мудрейко было не добудиться. Но как только он проснулся, так сразу же опять стал показывать нам пуп и очень обижался, что мы спешим на работу и не обращаем на его пуп никакого внимания.

Весь день он говорил только о своем пупе и всем рассказывал, какой у него интересный маленький пуп, и когда после работы мы позвали его с собой на лекцию о том, есть ли жизнь на других планетах, он долго смотрел на нас как на сумасшедших, а. потом сказал:

— Просто я удивляюсь вам, ребята! Ну как я могу сейчас думать о других планетах, когда на своем животе обнаружил пуп!

Вернувшись домой, мы рассказали ему, что после лекции нам показали научно-популярный фильм, и это был такой интересный фильм, что мы охотно посмотрели бы его еще раз. Но Никита Мудрейко сказал:

— Ну, ваш фильм не интереснее, чем мой пуп. Вы лучше посмотрите еще раз на мой пуп.

А на следующее утро, собираясь на работу, мы спросили у него, почему он повязывает свой шарф вокруг живота, а не вокруг шеи, но он опять посмотрел на нас как на сумасшедших и ответил:

— Просто удивительно, как вы сами не понимаете. Вы что, забыли, что у меня есть пуп? Долго ли его простудить?

И так нам надоело слушать про его пуп, что мы сказали:

— Ну что ты всё про пуп да про пуп, как будто только у тебя одного и есть пуп!

— Как? — спросил он, смертельно побледнев. — Разве у кого-нибудь еще есть пуп?

И он долго не хотел верить этому, и только вечером, когда мы укладывались спать и, задрав майки, показали, что у каждого из нас есть по такому же пупу, как и у него, он поверил и впал в такое уныние, будто мы отняли у него его собственный пуп.

АНДРЕЙ ХИЖИНА И ЕГО ГОРЕ

Был у меня товарищ Андрей Хижина. Подводный инженер. Он имел квартиру из двух комнат, кухни, ванной и прихожей. В одной комнате жил он сам с Варенькой. В другой — его дядя Кузьма Кузьмич.

Каждое утро Андрей Хижина уезжал к берегу моря, где строился подводный завод. Работы у него было много, а после работы он еще учился, и домой возвращался очень поздно.

Он ехал домой в автобусе, а от автобусной остановки бежал бегом — так не терпелось ему поскорей увидеть свою Вареньку. Он бежал по улице, как спортсмен, — загорелый, белозубый и ловкий, и, врываясь в квартиру как ветер, подхватывал Вареньку на руки.

И он всегда приносил с собой букетик цветов, или кулечек конфет, или какой-нибудь забавный подарок со дна моря.

Варенька была такая маленькая и худенькая, что в трамвае у нее спрашивали:

— Девочка, ты выходишь на этой остановке?

Но она была уже не девочкой. Она тоже работала и училась, и когда приходила домой, то сразу начинали хлопать все двери в квартире, греметь все кастрюльки в кухне, звонил телефон в прихожей, включалось радио в комнате и все предметы вдруг обретали голос и движение.

— Ведь это только подумать... — говорил Андрей Хижина. — Двадцать шесть лет я ходил по тем же улицам, по которым ходила ты, ездил в тех же трамваях и автобусах, в которых ездила ты, забегал в те же магазины, в которые забегала ты, и, наверное, я не раз встречал тебя, даже не догадываясь, что ты — это ты!

И они оба смеялись, так это казалось им невероятно.

И хотя он говорил это каждый вечер уже два года, но Варенька слушала его с таким интересом, будто он говорил это первый раз.

А утром Андрей Хижина снова спешил к берегу моря. Он ехал к морю в автобусе, но до автобусной остановки бежал бегом — так не терпелось ему поскорей завидеть свой подводный завод.

После него уходила на службу Варенька.

И дома оставался один дядя.

— Ну, наконец-то! — говорил он. — Слава богу! Теперь хоть можно подремать спокойно.

Весь день он лежал в своей комнате на продавленном диване, небритый и сонный, в мятых брюках и отвислых подтяжках.

Иногда вечером Андрей Хижина встречал своего дядю в кухне.

— Ну как, дядя, — спрашивал он, — всё еще не надумал идти работать?

— Как же! Надумаешь! Даст твоя супруга подумать! — ворчливо отвечал дядя. — Тут не только подумать — подремать не приходится. То она затеет мыть пол, то говорит по телефону, то к ней придут подруги. Никакого от нее покоя!

И, шлепая домашними туфлями, дядя* поскорей Заходил к себе, ложился на продавленный диван, закуривал и размышлял: что бы еще такое сказать про Вареньку, которую он терпеть не мог, даже не здоровался с нею, когда они встречались.

Так жили в одной квартире Андрей Хижина, Варенька и дядя Кузьма Кузьмич.

Однажды в осенний ветреный день Варенька простудилась и заболела. Приехала неотложная помощь, впрыснули Вареньке лекарство и сказали, что надо ее отвезти в больницу.

Она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, как подбитая птичка. Не хлопали двери. Не гремели кастрюльки. Не звонил телефон. Молчало радио.

А по лестнице поднималось Горе.

Оно останавливалось на каждой площадке и вглядывалось в номера квартир.

Лестница была ярко освещена, но когда Горе выходило на площадку, электрическая лампочка меркла и

светила вполнакала, — и номера квартир разглядеть было трудно.

Горе было неопределенного пола, высокое и строгое, в старой шляпе с большими полями, в широком и длинном пальто. Из глубоких темных впадин глядели красивые и грустные глаза.

Горе остановилось у квартиры номер шестнадцать, прислушалось и открыло дверь.

Оно вошло не позвонив, не постучав, не спросив разрешения.

В прихожей оно сняло галоши и поставило в угол зонтик.

Андрей Хижина был возле Вареньки. Горе встало за ним.

Оно стояло за его спиной, наклонялось вперед, когда наклонялся он, отступало назад, когда отступал он, ходило по комнате, когда ходил он. Оно ехало вместе с ним в машине, вошло в приемный покой, и когда он взял в свои руки маленькие, горячие и вялые ручки Вареньки, Горе так стиснуло его плечи, что он чуть не вскрикнул от боли.

Андрей Хижина вернулся домой. Вместе с ним вернулось и Горе. Было уже поздно. За окном метался ветер, гнул деревья и раскачивал фонари.

Андрей Хижина не зажег света. Он опустился на стул. Горе стояло за его спиной, обнимало его плечи, давило на них, и он склонялся всё ниже и ниже.

— Ну, поплачь, поплачь, сынок! — шептало Горе. — Как тихо стало в коридоре. Как пусто и холодно стало в квартире...

Так прошло время до самого рассвета. До рассвета сидел Андрей Хижина в темной комнате, стиснутый и придавленный Горем. А когда наступил рассвет и во

мраке комнаты стали рождаться предметы, он поднялся и надел пиджак.

И Горе спросило:

— Куда ты?

— На работу, — сказал он. — Мы будем сегодня устанавливать опорные фермы.

— Не пущу, — сказало Горе. — Какие там фермы, когда у тебя горе?

— Нет, я пойду, — сказал он.

— Нет, не пойдешь, — сказало Горе. — Или ты уже забыл свою Вареньку, как она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, похожая на подбитую птичку?

— Я не забыл ее, — сказал Андрей Хижина, — но я должен идти. — И он повел плечом, чтобы освободиться от цепкой руки Горя.

— Ну что ж, — сказало Горе, — раз должен, так иди, только и я пойду с тобой.

— Нет, — сказал он, — ты будешь мешать мне. Да тебя и не пустят туда без пропуска.

— Меня? — усмехнулось Горе. — Меня всюду пускают без пропуска.

Но он осторожно отстранил свое Горе, усадил его в кресло у окна и, сунув ему в руки первую попавшуюся книгу, чтобы не скучало, ушел из дому.

И Горе осталось одно.

Оно полистало книгу, потом поднялось с кресла, побродило по комнате, включило радио, поглядело фотографии, развешанные на стене; ему стало скучно. Оно всё видело, всё знало, и ничто не могло развлечь его. И, поскучав с полчаса, Горе надело в прихожей галоши, взяло зонтик и отправилось к берегу моря, туда, где Андрей Хижина строил подводный завод.

В бюро пропусков, как часовые, стояли вахтерши в платках и шинелях; командированные с портфелями

звонили по телефону; ругались шофёры, оформляя документы. Дощатая перегородка с окошечком ограждала дежурного от всех человеческих слабостей.

— Здравствуйте, — сказало Горе дежурному. — Я — Горе Андрея Хижины.

— Что? — спросил дежурный, окинув Горе бдительным взглядом. — Андрея Хижины? — И, порывшись в бумажках, сообщил: — Нет у меня на вас заявки.

— Я знаю, что нет, — сказало Горе, — но вчера его жену увезли в больницу. Если бы вы только знали, как он любит ее! Если бы вы только видели, как он глядел на нее, когда она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, похожая на подбитую птичку!..

Горе говорило так жалостно, что шофёры, вытащив носовые платки, долго отсмаркивались и тяжко вздыхали. Командированные, прикрывшись своими портфелями, украдкой вытирали глаза. А вахтерши, стоявшие как часовые, громко плакали, и их слезы прямо ручьями текли на черные казенные шинели. И даже дежурный, огражденный перегородкой от всех человеческих слабостей, вдруг всхлипнул и сказал своему помощнику дрожащим и расслабленным голосом:

— Аникушкин! Человек ты или идол! Да проводи же их поскорее к товарищу Хижине!

И Горе проводили к Андрею Хижине.

Андрей Хижина был на берегу. Могучие подъемные краны высились над ним, широко расставив железные ноги. Море лежало тяжелое и черное. Из воды поднимались вышки. Сновали катера. Летали встревоженные чайки. Иногда далеко в бухте вскипали пенистые фонтаны, и тогда глухие удары сотрясали воздух и долго потом перекатывались над морем.

В белой рубашке, с рукавами, засученными до локтей, с разметавшимися на ветру волосами, Андрей Хи-

жина, казалось, затерялся среди гигантских механизмов, но стоило ему поднять над головой свою маленькую загорелую руку, как в тот же миг что-то начинало скрежетать и ухать, звенели туго натянутые тросы, зажигались сигнальные лампочки, и тяжелая волна окатывала берег.

Горе прикоснулось к его плечу.

— Постой, постой, сынок! — сказало оно. — Ты так увлекся, словно у тебя и нет никакого горя. Неужели ты уже забыл свою маленькую Вареньку?

Андрей Хижина согнулся, будто его ударили.

— Горе мое! — проговорил он с мольбой и упреком. — Мне сейчас очень некогда. Если окажется перекос хотя бы на один миллиметр, всё придется начинать сначала.

— Хорошо, — сказало Горе, — делай свое дело. Я подожду, постою рядышком.

— Нет, — сказал Андрей Хижина. — Я не могу работать, когда ты стоишь рядом. Ты пойди домой, подожди меня там.

И он побежал к арке тоннеля, который соединял берег с подводным заводом.

Горе поглядело ему вслед: в тоннеле поблескивали склизкие ступеньки. Стены там дышали холодом и сыростью.

Нет, Горе не пошло туда: оно опасалось простуды.

И Горе вернулось в город. Оно вернулось в квартиру Андрея Хижины, уселось в кресло у окна и стало ждать.

Ждало долго. Наступил вечер. Пошел дождь. На другой стороне площади, как освещенные змейки, проползали трамваи. В комнате было очень тихо. Скреблась мышь. Андрей Хижина не возвращался.

«Может быть, он уже забыл обо мне? — думало Горе. — Может быть, он попросту сбежал от меня?» — думало Горе.

От нечего делать оно стало бродить по квартире и забрело в комнату дяди.

Дядя лежал на диване, как тесто в квашне. Полосатые носки его были продраны. Глаза заспаны. Брюки на животе не сходились. Когда он ворочался, чтобы почесать небритую щеку, пружины под ним недовольно поскрипывали. Он радовался, что в квартире не хлопают двери, не гремят кастрюльки, не звонит телефон, не говорит радио. И ничто не мешало ему дремать и думать.

А думал он о том, как глупо и несправедливо подозревать, будто он, Кузьма Кузьмич, лодырь и не хочет работать! Да разве он не хочет работать? Он очень даже хочет работать! Разве ему не скучно весь день лежать одному? Конечно, скучно. Но не мог же он поступить на работу зимой, когда стояли такие холода! А потом у него на глазу был ячмень. А потом эта несносная Варенька всё мешала ему подумать о работе.

Так он размышлял, когда услышал тихие шаги Горя.

— Кто это там ходит? — спросил он.

— Это я, Горе, — ответило Горе.

— Горе? — воскликнул дядя. — А по какому поводу вы явились?

— Я пришло сюда потому, что маленькую Вареньку вчера увезли в больницу.

— Но это же отлично! — воскликнул дядя. — Вы просто не можете себе представить, что это было за несносное существо. Наказание это было, а не существо!.. Садитесь, пожалуйста. Извините, что я в подтяжках и у меня не прибрано, но, знаете, ко мне так

редко приходят гости, что нет никакого стимула прибирать в комнате. — И, поджав под себя ноги, дядя потеснился, уступая Горю место на краешке дивана.

Горе село. Оно протянуло руку и обняло дядю, как вчера обнимало племянника.

— Если бы вы только знали, как Андрей ее любит... — сказало Горе. — Если бы вы только видели, как он глядел на нее, когда она лежала на кровати, маленькая и беспомощная, словно подбитая птичка!..

Горе говорило так жалостливо, что дядя стал посапывать носом, потом всхлипнул, и по его небритым щекам потекли слезы. Через час он уже лежал, уткнувшись лицом в подушку, и горько рыдал.

Так он предавался горю до позднего вечера. А поздним вечером захотел есть. Он вытер слезы и, всё еще всхлипывая, сказал, что чувствует необычайную слабость и очень просит Горе порыться в шкафчике, — там должно быть немножко водки, а потом сходить на кухню, включить газ и разогреть вчерашний суп.

Горе порылось в шкафчике, нашло водку, разогрело суп.

Дядя долго делил водку поровну, чтобы не обидеть ни себя, ни Горе.

— Ну, будем здоровы! — сказал он всхлипывая, и они чокнулись.

Ужин несколько утешил дядю. Он перестал всхлипывать, только иногда нервно вздрагивал.

— Знаете, Горе, — сказал он, — я так разволновался, что мне теперь до утра не заснуть. Может, сыграем в картишки?

И так как Андрей Хижина всё еще не возвращался и Горю всё равно делать было нечего, то оно согласилось сыграть в карты.

Играли в подкидного дурака. Горе играло спокойно, молча, глядя на партнера красивыми и грустными глазами. А дядя волновался, хлопал Горе по коленке и всё беспокоился, чтобы Горе не жулило.

И Горе всё время оставалось в дураках.

К полночи они так подружились — дядя и Горе, что, когда вернулся домой Андрей Хижина, дядя и слышать не хотел, чтобы Горе ушло к племяннику.

— Да ну его, — говорил дядя, — он, наверно, устал как черт и сразу завалится спать. А я могу не спать хоть всю ночь, у меня и днем найдется время выспаться. Ей-богу, оставайтесь у меня.

Но Горе взглянуло на него укоризненно, поднялось с дивана, отряхнуло коленки и ушло — строгое и грустное.

«Не понимаю, — думал дядя, — отчего люди жалуются на свое горе, когда даже с чужим горем можно неплохо провести время».

И он сладко захрапел, с присвистом и причмокиванием.

А Горе в это время уже обняло Андрея Хижину. Оно не дало ему даже включить электричество. Оно не дало ему даже добрести до кровати. И опять он всю ночь просидел на стуле. Неподвижный и согнутый будто на его плечах лежал потолок.

Но наступил рассвет, и Андрей Хижина встал со стула.

— Ты не сердись на меня, мое Горе, — сказал он, — но мне пора, я побегу.

И он отправился на работу, а Горе осталось дома.

Теперь оно не скучало. Оно сразу пошло в комнату дяди.

Весь день они провели вместе. А к вечеру так привязались друг к другу, что Горе уже само не захотело

идти к Андрею Хижине, тем более что Варенька поправлялась.

И Горе осталось у дяди.

С тех пор так и живут они все вместе. В одной комнате живет Андрей Хижина с Варенькой. В другой — дядя с Горем.

Андрей Хижина и Варенька учатся, работают и отдыхают. А дядя и Горе — едят, пьют да играют в подкидного дурака.

БОГИНЯ ДУНЯ

Рыжая красавица Дуня знала, что на всей улице, а быть может и во всем городе, нет красавицы, которая была бы красивее ее. Она отлично знала это, потому что уже третий месяц служила официанткой в столовой номер восемь треста общественного питания и посетители не раз говорили ей комплименты, перед тем как приняться за второе или третье блюдо.

И зная, что она так красива, она нисколько не удивлялась, что ее молодой муж, кузнец Василий Та-

бак, любит ее с таким пылом и жаром, какой он мог позаимствовать только у своей нагревательной печи, полыхавшей в цехе днем и ночью.

Он был грубоватым парнем, этот черноволосый курчавый великан, выжимавший одной рукой двухпудовую гирю. Он недавно приехал из деревни, но не хотел посещать ни философский семинар, ни лекции по истории искусства эпохи Возрождения, а хотел посещать только цирк и кружок по изучению кузнечного дела. А из всего богатства мировой литературы он признавал только «Справочник кузнеца», песенник издания прошлого года и таблицу розыгрыша первенства по футболу.

Поэтому он даже не имел представления о том, как любят своих красавиц жен люди культурные и начитанные, и любил красавицу Дуню так, как подсказывало слабое развитие его интеллекта и отличное развитие его мускулатуры.

Раз двадцать в день он обнимал красавицу Дуню могучими руками, говорил: «Ух ты, а ну-ка еще!» — и целовал так крепко, будто бил молотом по наковальне.

И рыжая красавица Дуня хотя иногда и жаловалась, что ее муж не носит шляпу и не выступает с докладами, но, несмотря на это, охотно ходила с ним в цирк и на стадион, стирала его белье, штопала спецовку и раз в месяц мыла пол в коммунальной кухне.

И так безмятежно она, наверное, прожила бы всю свою счастливую жизнь, если бы однажды не увидел ее красавчик Витя Влюбченко.

У Вити Влюбченко голубые глаза, мягкие светлые волосы и нежных цветов галстуки. Он знал наизусть много стихотворений. И сам был поэтом.

В отличие от других поэтов, которых вдохновение осеняет только за письменном столом, или на берегу

моря, или при виде заката и восхода солнца, Витя Влюбченко был осенен вдохновением всегда и повсюду: и за станком в цехе, и в бане, когда намыливал спину товарищу, и в магазине, где покупал колбасу на ужин.

Писал он так нежно и трогательно, что все девушки нашего завода были влюблены в белокурого поэта Витю Влюбченко, и по ночам каждой из них снилось, будто он посвятил ей сонет, который опубликован в стенной газете и передан по радио в обеденный перерыв.

В столовую номер восемь Витя Влюбченко попал случайно, намереваясь пообедать на скорую руку. Он уже выбрал себе бульон с пирожками на первое и рисовую запеканку на второе, когда увидел рыжую красавицу Дуню, которая неторопливо выплывала из кухни с подносом в руках, в белой наколочке и белом передничке, как корабль под парусами.

Рыжая красавица Дуня была так прекрасна, что он не смог даже выговорить слова «бульон», а, вцепившись в скатерть и заикаясь от восхищения, мог произнести только «бу» и, не отводя глаз от рыжей красавицы Дуни, повторял бессмысленное и восторженное «бу-бу-бу» до тех пор, пока не услышал:

— Что-то я не пойму, чего вы хотите, молодой человек! Еще не выпили и не закусили, подавиться, кажется, было нечем.

Услышав это справедливое замечание, он взял себя в руки и, испытывая небывалое смятение, заказал бульон с пирожками и рисовую запеканку. А когда он съел бульон с пирожками и рисовую запеканку, то заказал флотский борщ и пожарские котлеты. А когда съел флотский борщ и пожарские котлеты, то заказал свежие щи и свиную отбивную. И хотя он не выпил ни

капли спиртного и был сыт по горло, он не мог встать и расплатиться, а мог лишь заказывать обед за обедом и шептать губами, онемевшими от обильной пищи, восхищения и робости:

— Или я пьян, или она — богиня!

Сколько он себя помнил, он всегда был атеистом и никогда не верил в существование богов, а тем более — богинь. Но, сидя в столовой и доедая свиную отбивную, Витя Влюбченко понял, что он ошибался, что богини могут существовать и существуют, и не где-нибудь в заоблачных сферах, а в нашем социалистическом обществе, и, по-видимому, это нисколько не противоречит материалистическому пониманию действительности.

Размышляя об этом, он заказывал блюдо за блюдом; он исчерпал всё меню, вплоть до чая с лимоном и чая без лимона, и расплатился только тогда, когда официантки уже стаскивали со столов белые скатерти и водружали на голых столах перевернутые стулья, которые громоздились, оскорбительно и насмешливо задрав кверху ноги.

Но и тогда Витя Влюбченко не поехал домой, а пошел за рыжей красавицей Дуней, забыв про велосипед, пальто, фуражку и кашне.

Он шел под дождем и шлепал по лужам, не смея приблизиться к прекрасной богине. Он шел за ней к трамвайной остановке, и ждал вместе с нею трамвая, и вскочил вслед за ней на подножку.

У ее дома он долго стоял под окнами, пока на одной из занавесок, как на экране кино, не появились два силуэта.

Один силуэт был как букет цветов, как облако в чистом небе, как флаг на ветру. Другой был как дом, как шкаф, как автобус.

Утром на заводе Витя был рассеян и задумчив. Ему сказали: «Здорово, приятель!» Он ответил: «Благодарю!» У него спросили: «Будет сегодня редколлегия?» Он ответил: «Спасибо, ничего». А приблизившись к своему станку, возле которого никого не было, он притронулся к задней бабке и спросил: «Разрешите?»

В перерыве он пошел в кузнечный цех. Василий Табак стоял на своем месте. Его курчавые волосы были повязаны платком. Широкие брюки дымились. На голой спине играли блики пламени. Длинными щипцами он вытаскивал из печи брызжущую болванку и совал ее под громадный молот. А когда молот обрушивался на нее своей тысячепудовой тяжестью, Василий Табак вскрикивал: «Ух ты, а ну-ка еще!» И, повернув болванку, совал ее опять под молот и снова вскрикивал: «Ух ты, а ну-ка еще!»

Витя хмуро смотрел на кузнеца. Потом закричал, стараясь кричать так тихо, чтобы в шуме и грохоте мог расслышать один только Василий Табак.

— А ты знаешь, товарищ Табак, что твоя Дуня — богиня?

— Ух ты, богиня! — расхохотался Василий Табак. — Что ж, дружок, может, и богиня, да тебе-то что?

— А ты не боишься, товарищ Табак, — кричал Витя, ужасно волнуясь, — что от твоих грубых ласк ее нежные губы могут покрыться мозолями?

— Ух ты, мозолями! — хохотал Василий Табак. — Нет, брат, нисколько я этого не боюсь.

И Витя Влюбченко сказал:

— Прозаический и низменный ты человек, товарищ Табак!

И он ушел из кузнечного цеха, гордый и белокурый.

После работы он опять сидел в столовой номер восемь, и хотя меню было в его руках, но он глядел не в

меню, а на богиню Дуню и взволнованно шептал:

— Мороженое на первое и суп с клецками на второе!

— Кто же ест мороженое на первое? — с укором сказала она.

— Ах, простите, я хотел сказать: бульон с пирожками на первое и свежие щи на второе!

— Кто же ест щи на второе? — с презрением сказала она.

И только теперь она всё поняла. А когда всё поняла, то поглядела на него с интересом и сравнила со своим Василием Табаком. Нет, Василий Табак никогда не заказывал мороженое на первое, а щи на второе. Он просто не способен на такую любовь!

В этот вечер Витя Влюбченко опять пошел за красавицей Дуней. Он брел за ней по проспектам, улицам и переулкам; заходил с ней в аптеку, булочную и «Гастроном» и нес авоську с батонами, фаршем и луком.

Но в этот вечер не было дождя, и даже где-то далеко-далеко за фонарями, крышами и антеннами могла быть луна. Это придало ему смелости, и он сказал так:.

— Я просто удивляюсь, Евдокия Степановна! Неужели вашу необыкновенную красоту не оскорбляет то, что вы служите официанткой, выполняете всякую домашнюю работу и вообще удовлетворяете лишь физические потребности трудящихся?

— А какие потребности, по-вашему, я должна удовлетворять? — спросила она.

— Вы должны удовлетворять только духовные потребности, — сказал он, в волнении теребя авоську с продуктами. — И хотя я очень уважаю вашего мужа за его производственные и спортивные успехи, но я думаю, что он не умеет любить вас так, как того заслуживает ваша красота. Я думаю, что вам не пристало стирать ему белье, штопать спецовку и жить в комму-

нальной квартире, где в назначенные дни вам приходится мыть места общего пользования.

— А где мне пристало жить? — спросила она с интересом.

И он воскликнул:

— Вам пристало жить там, где живут богини!

— На небе? — спросила она.

— В музее! — сказал он. — В залах с мраморными колоннами, среди других богов и богинь.

И ей захотелось жить в залах с мраморными колоннами, среди богов и богинь. Но так как она была женщина рассудительная и не привыкла поступать очертя голову, то она спросила:

— А что мне надо будет там делать?

— Ничего, — сказал он. — Только восхищать своей красотой экскурсантов и одиночек.

— А справлюсь? — спросила она.

— Еще бы! — закричал он так восторженно, что милиционер, проходивший мимо, замедлил шаги.

— Что ж, можно попробовать, — сказала она сдержанно, чтобы Витя Влюбченко не догадался, что ей уж очень хочется жить так, как живут богини.

В этот вечер она не вернулась в свою коммунальную квартиру, к своему прозаическому Василию Табаку, а мчалась в такси к Музею, который высился посреди площади, как айсберг посреди океана. Могучие колонны поддерживали его горделивый портик. В громадных окнах поблескивал загадочный лунный свет.

Стукнула дверца такси, и две маленькие фигурки поднялись по широкой белой лестнице.

С бьющимся сердцем Витя ввел Дуню в кабинет ученого хранителя музея.

Ученый хранитель был очень молод, бледен и близорук. Университетский значок сверкал на его пиджаке, как орден.

Через очки и лупу он рассматривал удивительную сороконожку, у которой вместо сорока ножек были только четыре ножки.

Услышав стук в дверь, он не поднял головы и, продолжая разыскивать у сороконожки недостающие ножки, спросил:

— А это что?

— Это она! — сказал Витя гордо. — Я говорил с вами по телефону. Я доставил ее!

— Ах, она! — сказал ученый хранитель. — Помню, помню. Из раскопок гробницы Хеопса. Богиня с птичьим клювом! Ну что ж, заполним анкетку, и я помещу ее в отдел Египта.

— У нее нет клюва! — возмутился Витя. — И при чем тут Египет? Я разыскал ее в столовой номер восемь. Это современная богиня! Вы поглядите, как она прекрасна! Разве она не лучше всех ваших старых богинь, которые служили средством духовного порабощения трудящихся, тогда как она служит официанткой в столовой!

— Ах, наша советская богиня! Помню. Помню, — сказал ученый хранитель. — Ну что ж, заполним анкетку, и я помещу ее в бело-розовом зале, рядом с Венерой, Дианой и Юноной. Там как раз освободился пьедестал, и наша богиня займет достойное ее место.

В ту же ночь рыжая красавица Дуня была помещена в бело-розовый зал, рядом с богинями Венерой, Дианой и Юноной.

Так как она была современной богиней, то ей оставили черную юбку, нейлоновую блузку, капроновые чулки и туфли на микропористой подошве.

Рано утром, когда первые лучи солнца заглянули в бело-розовый зал и служители обмели новую богиню длинными мягкими метелками, раскрылись двухстворчатые двери и на пороге появился Витя Влюбченко в свежей бобочке, причесанный и торжественный.

Ему не пришлось отпрашиваться с работы, потому что еще накануне все заметили, что с ним что-то случилось, и мастер сказал ему так: «Сходил бы ты в поликлинику. Замечаю я, что с тех пор, как ты обедаешь в другой столовой, вид у тебя стал какой-то не такой. Животом маешься, что ли?»

Витя не стал спорить, он схватил направление в поликлинику и помчался в музей. И вот теперь он стоял на пороге бело-розового зала, склонив голову и выражая свою любовь восхищенным взглядом и глубокими вздохами.

А слух о новой богине уже разнесся по всему городу, и в музей повалили экскурсанты и одиночки.

Они торопливо проходили мимо всех других чудес искусства и природы — взволнованные парикмахеры и педагоги, математики и домохозяйки, портнихи и школьники, астрономы и водолазы, — они спешили прямо в бело-розовый зал и, увидев рыжую красавицу Дуню, замирали от восхищения.

Даже самые красноречивые экскурсоводы не находили слов, чтобы описать ее необыкновенную красоту, и они молчали, опустив свои длинные указки, которые смиренно гнулись к полу, как бы преклоняясь перед прекрасной богиней.

Так продолжалось до самого вечера, и до самого вечера у дверей стоял Витя Влюбченко. Он стоял, глубоко вздыхая, устремив восхищенный взгляд на богиню, молчаливый, мечтательный и задумчивый, как вахтер

на дежурстве.

А вечером, когда все ушли и сторожа заперли двери и дремали за ними, вооруженные револьверами, рыжая красавица Дуня сказала богиням Венере, Диане и Юноне:

— Ну что ж, девочки! У вас тут, пожалуй, не хуже, чем в нашей столовой. Обстановка культурная, обхождение вежливое, пьяных нет... Да и удовлетворять духовные потребности трудящихся не так уж трудно!

Но богини молчали. Они никогда не бывали в общественной столовой, и им не с чем было сравнивать свое божественное существование.

На следующее утро служители опять обмели богинь длинными мягкими метелками и распахнули двери бело-розового зала. И опять первым появился Витя Влюбченко, которому и на этот раз не пришлось отпрашиваться с работы, потому что мастер сказал: «Видно, не помогли тебе в поликлинике. Вид у тебя по-прежнему какой-то не такой. Наверное, диагноз не сумели поставить. Сходил бы ты, брат, на рентген».

И, сжимая в руке направление на рентген, Витя снова стоял на пороге зала, перед лицом своей прекрасной богини, трепеща от восторга и нежности.

А но коридорам и залам уже бежали экскурсоводы, экскурсанты и одиночки. Кинооператоры тащили на плечах треножники с киноаппаратами. Фотокорреспонденты на бегу щелкали затворами.

Второй день прошел так же, как и первый. И когда опять наступил вечер, сторожа заперли двери, а богини остались одни, рыжая красавица Дуня вздохнула, зевнула и сказала богиням Венере, Диане и Юноне:

— Всё-таки скучная у вас, девочки, должность. Хоть бы вязать разрешили, я бы вам кофточки связала, как у нашей поварихи... И мужчины какие-то уж больно

серьезные: чтобы за весь день ни один не позвал в кино — в жизни со мной такого не бывало!

Но богини и на это ничего не ответили: они никогда не носили вязаных кофточек, и боги не звали их в кино.

И наступил третий день божественного существования рыжей красавицы Дуни.

Третий день начался, как предыдущие: у порога стоял вздыхающий Витя Влюбченко, а по коридорам спешили студенты и грузчики, балерины и управдомы, поэты и маникюрши, искусствоведы и вагоновожатые, завхозы и кузнецы.

Кузнецы прибежали уже к вечеру.

Среди кузнецов был Василий Табак.

Он выпил в этот день не одну стопку водки, думая водкой залить тоску о пропавшей без вести Дуне, а когда Василий Табак выпивал не одну стопку водки, то становился таким послушным, что готов был последовать любому совету. И, зная о такой его психологической особенности, председатель культкомиссии сказал ему:

— Беда мне с тобой, товарищ Табак! В том месяце ты руку вывихнул, а теперь вот жена сбежала. И в этом, по существу, нет ничего удивительного. Односторонний ты человек, товарищ Табак! Все вокруг тебя люди культурные: посещают семинары, интересуются искусством, выезжают в лес за грибами, ходят в музеи, только ты один нигде не бываешь. Отсталый и невежественный ты субъект, товарищ Табак, всё равно как неандертальский человек, живший на заре нашей эры. Сходил бы хоть раз в жизни с нами на экскурсию.

И так как Василий Табак выпил в этот день не одну стопку водки, то он согласился пойти на экскурсию.

Он шел не спеша, чуть пошатываясь на своих могу-

чих ногах, а свои железные кулачищи, чтобы не пугать людей, нес в карманах, как тяжелые булыжники.

Так дошел он до дверей бело-розового зала, но, увидев на пьедестале Дуню, остановился, и его черные брови поднялись так высоко, что если бы была на нем шапка, то она съехала бы на самый затылок.

Он стоял некоторое время молча, соображая, не выпил ли лишку, но вдруг захохотал так громко и неожиданно, что одно нежное мраморное изваяние, испуганно вскрикнув, слетело с подставки и разбилось на несколько кусков.

— Поглядите на нее! — кричал Василий Табак, бросаясь к Дуне и расталкивая экскурсоводов, экскурсантов и одиночек. — Поглядите на нее, люди добрые! На работу не ходит, дома обед не сварен, белье не постирано, муж запил, а она сидит себе здесь, всё равно что кассирша!.. Эх ты, моя курносая!

— Васенька! Миленький! — закричала богиня Дуня и полезла с пьедестала прямо в громадные ручищи кузнеца.

— Караул! — кричали экскурсоводы, экскурсанты и одиночки. — Караул! Он попортит ее свежие губки! Он раздавит ее нежные плечи! Держите невежу! В милицию его! Протокол! Оштрафовать!

Свистели свистки. Звенели звонки. Маникюрши хватали его за руки. Балерины — за ноги. Искусствоведы разъясняли ему, что такое прекрасное.

— Не трожьте его! Не трожьте! — кричала богиня Дуня. — Чего вы на него напали? Человек недавно из деревни, в музеях не бывал, а вы сразу: «Милиция! Милиция!»

И, отбив своего великана от экскурсоводов, экскурсантов и одиночек, она встала на цыпочки, чтобы поправить ему галстук, и шепнула:

— Фу, какой ты, Васенька, право! Ты бы меня издали поманил, я бы незаметно к тебе вышла, а то ведь как так можно: жену в богини выдвинули, люди ей поклоняются, а ты при всех прямо на ее рабочее место полез целоваться. Вот и неприятности. — И она потащила его за руку к выходу. — Пойдем скорее, пока милиция не явилась. Хватит им здесь богинь без меня!

И они побежали из бело-розового зала. И они бежали из музея, который высился посреди площади, как айсберг посреди океана. А когда очутились в трамвае, стиснутые со всех сторон пассажирами, прекрасная богиня прижалась к своему черноволосому кузнецу и сказала:

— Ох, до чего мне надоело быть богиней! — и поцеловала его в колючий подбородок.

— Ух ты! — воскликнул Василий Табак. — А ну-ка еще!..

Так рыжая красавица Дуня и не стала богиней. Ей был объявлен в приказе выговор за трехдневный прогул. И она осталась официанткой в столовой номер восемь треста общественного питания. И Василий Табак по-прежнему не щадил ее божественной красоты: раз двадцать в день он обнимал ее своими могучими руками, говорил: «Ух ты, а ну-ка еще!» — и целовал так крепко, будто бил молотом по наковальне.

А белокурый поэт Витя Влюбченко опять стал убежденным и последовательным атеистом и понял, что в наше реалистическое время нет и быть не может богов, а тем более богинь. И если бы рыжая красавица Дуня в самом деле оказалась богиней, то это находилось бы в вопиющем противоречии с материалистическим пониманием действительности.

ГЛУПЫЙ ВАНЕЧКА

Умного Мишу все хвалили за то, что он рассудительный и выступает на каждом собрании. Красавчика Витю все хвалили за то, что он вежливый и может сочинить стихи на любую тему. Петю Коржика все хвалили за то, что он скромный и много читает.

А глупого Ванечку хвалить было не за что, и глупого Ванечку все ругали.

Ругали его за то, что он глупый; ругали за то, что он растяпа; ругали за то, что любит поспать; ругали за то, что любит поесть; ругали за то, что в кино ходит охотно, а на лекции не очень охотно...

Если он не делал чего-нибудь, его ругали — почему не делает. А если делал — ругали, почему делает так, а не иначе. А если делал иначе — то почему делает иначе, а не так, как другие.

Ругали его даже за то, за что других хвалили.

Ляжет умный Миша поспать после обеда, и каждый, кто бы ни вошел в комнату, говорил так:

— Вот какой Миша умный. Пообедал и отдыхает.

Но, увидев, что глупый Ванечка снимает тапочки и топчется в одних носках у кровати, тот же вошедший говорит:

— Ну и глупый же ты парень, Ванечка! Почему бы тебе в библиотеку не сходить? Почему бы с умными людьми в футбол не поиграть? А то не успел пообедать — и уже отдыхаешь!

И Ванечка не обижался, когда его ругали, понимая, что ругают его справедливо, из самых лучших побуждений, желая ему добра и счастья.

Он действительно был глуповат, наш бедный Ванечка.

И лицо у него было глупое: ни очков, как у Миши; ни чубчика, как у Вити; ни чернильного пятнышка на подбородке, как у Пети Коржика. Никаких первичных признаков интеллекта!

И одежда была у него глупая: на голове он носил круглую глупую тюбетеечку, а на ногах — глупые тапочки.

И работа его не требовала ни умения, ни сноровки, ни сообразительности. Сидел он перед каким-то тупоносым станочком, нажимал какой-то тупоносый рычажок, и получались какие-то тупоносые штуковинки, казавшиеся потом бородавками на благородных и умных машинах, сверкавших в отделе готовой продукции.

Мы очень жалели нашего глупого Ванечку и старались помочь ему, чем только могли.

Когда мастер хотел перевести его на другую работу, добросердечный Петя Коржик говорил:

— Ванечку?.. На другую работу?... Да разве он справится? Нет уж, вы нашего Ванечку, пожалуйста, не трогайте!

А когда шли все вместе в кино, умный Миша говорил Ванечке:

— Ты только смотри на экран, а я тебе буду объяснять всё, что там происходит.

А когда знакомились в клубе с девушками, то красавчик Витя говорил девушкам:

— Вы на Ванечку не обращайте внимания, он у нас немного того... — И он покручивал пальцем возле своего лба.

Но одна девушка, которая была похожа на маленького зайчика, засмеялась и сказала Ванечке:

— Как жаль, что вы немного того... — и она тоже покрутила пальчиком возле своего лба, — а то мы с вами потанцевали бы вместе. — И она поглядела на Ванечку такими раскосыми, такими смеющимися и уже танцующими глазами, что он весь вспыхнул, как спичечная головка.

Но красавчик Витя сказал:

— Нет, вы уж не смущайте нашего Ванечку. Где ему танцевать! Лучше вы со мной потанцуйте!

Сверкали люстры. Гремела радиола. Все танцевали и веселились. А Ванечка стоял у стены в своей глупой тюбетеечке и глупых тапочках и тоскливыми глазами провожал бантик, похожий на заячьи ушки, который мелькал то справа, то слева, то прямо перед ним.

Когда кончились танцы, красавчик Витя подошел к нему и сказал:

— Оставь надежды, дружок! Где тебе засматриваться на девушек! Разве ты догадаешься, что надо сделать, если твои губы случайно окажутся возле ее нежной щечки?

В этот вечер красавчик Витя вернулся домой позже всех. Он вернулся влюбленный и ликующий и, взглянув на глупого Ванечку, который уже лежал в постели, воскликнул:

— Друзья мы ему или не друзья? Можем ли мы спокойно играть в футбол и шахматы, любить театр и девушек, развиваться физически и нравственно, когда наш любимый товарищ лишен всех радостей юности, потому что глуп, как новорожденный?

— По-моему, не можем, — сказал Петя Коржик. — Никак не можем!

— Всё ясно, ребята! — сказал умный Миша. — Мы должны чаще напоминать ему о его глупости, чтобы он не мирился с нею, а изо всех сил старался поумнеть. Не унывай, Ванечка! Не вешай носа, дружок! Мы не покинем тебя в беде. Мы будем напоминать тебе о твоей глупости так часто, как этого требуют от нас законы товарищеской взаимопомощи, и я уверен, что не пройдет и месяца, как ты поумнеешь.

И мы стали напоминать Ванечке о его глупости каждый день и каждый час, где бы ни были: дома или на заводе, в клубе или в столовой, в школе или в кино.

Но прошел месяц, другой и третий, а наш бедный Ванечка был всё таким же глупым.

Нет, мы не могли с этим примириться.

И однажды вечером, когда мы обсуждали этот вопрос, к нам в комнату зашел комендант.

Он окинул стены своим строгим комендантским взглядом, поскрипел на пороге хромовыми сапогами,

заглянул под кровати, понюхал в углах, а потом уселся на самое почетное место — за столом.

— Здорово, товарищи! — сказал он.

— Здорово, — ответили мы.

— Не спим? — спросил он.

— Не спим, — ответили мы.

— Разговариваем?

— Разговариваем, — ответили мы.

И умный Миша встал перед ним, маленький и серьезный, сверкая большими очками на крохотном носике, и сказал:

— Очень хорошо, что вы зашли, так как одни мы не в силах решить вопрос, который нас весьма тревожит. Дело в том, что в нашей среде, — сказал он, — в нашей яркой и умной среде есть один глупый. Этот глупый — наш любимый товарищ, и мы желаем помочь ему всеми силами своего ума.

— Поможем! — сказал комендант. — С нами не пропадет!

— Может быть, мы не так его воспитываем? — спросил красавчик Витя.

— Не так! — сказал комендант.

— Может быть, будет лучше не напоминать ему каждый день о его глупости, а делиться с ним своим собственным умом? — предложил Петя Коржик.

— Будет лучше! — сказал комендант.

— Ну что ж, — сказал умный Миша, — в таком случае я готов весь свой ум разделить поровну между собой и им.

— Только чтоб поровну! — сказал комендант.

— Каждый день я буду рассказывать ему что-нибудь умное, — обещал Миша.

— Каждый день! — сказал комендант.

— Но ведь он глупый, как же поймет он умное? — спросил красавчик Витя.

— Да, как же? — сказал комендант.

— Ну, это очень просто, — ответил умный Миша. — Надо только об умном рассказывать поглупее.

— Как можно глупее! — сказал комендант.

— Надо, чтобы умное стало почти что глупым, — пояснил умный Миша.

— Вот именно! — сказал комендант.

— Но если умное станет глупым, как же тогда отличить умное от глупого? — спросил Петя Коржик.

— Да, как же? — сказал комендант.

— Но это же ясно, — объяснил умный Миша. — То, что говорит умный, — это умно. А то, что глупый, — это глупо.

— Ясно! — сказал комендант.

И мы стали по-новому воспитывать нашего глупого Ванечку.

Всё умное, что за день мы узнавали, прочитывали или выслушивали, мы передавали нашему глупому Ванечке так глупо, чтобы он мог понять.

И каждый вечер, когда глупый Ванечка снимал свою глупую тюбетеечку и глупые тапочки, кто-нибудь из нас садился рядом с ним на кровать и спрашивал сочувственно и дружелюбно:

— Ну как, дружок? Может быть, мы рассказываем тебе недостаточно глупо?

— Нет, почему же, — отвечал Ванечка, — достаточно глупо. Спасибо.

— И не помогает?

— Ой, не знаю, — отвечал Ванечка, — не знаю, ребята!

Вот каким глупым был наш Ванечка. Ну что будешь с ним делать? Как помочь товарищу?

Решили, что следует Ванечке сходить в поликлинику. Но так как мы не были уверены, что у Ванечки хватит ума самому рассказать врачу о своей глупости, то умный Миша вызвался сходить вместе с ним.

Записались на прием к известному специалисту по глупости.

От частого общения с глупцами этот специалист был человеком мрачным и разочарованным в жизни.

— Мы пришли к вам, доктор, — сказал умный Миша, — по поручению всей нашей комнаты. Мы просим вылечить одного из нас от глупости. Мы очень страдаем от того, что один из нас глуп и бросает тень на всю нашу комнату.

— Садитесь, — сказал доктор мрачно, — сколько будет трижды три?

— Девять! — сказал глупый Ванечка.

«Эге! — подумал умный Миша. — А доктор-то не дурак! Как ловко он определяет глупость своего пациента! Какой глупец не скажет, что трижды три будет девять?» Он подмигнул доктору и проговорил, указывая на Ванечку:

— Вот видите, ему даже не приходит в голову, что трижды три можно выразить как одну сотню без девяти десятков и одной единицы, или, как утверждал еще Пифагор, это равнозначно числу девяносто, деленному на десять...

— Ладно! — сурово сказал доктор. — А какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот сорок седьмой, — сказал Ванечка.

А умный Миша, горько усмехнувшись, обратился к доктору с такими словами:

— Ну разве не обидно, когда твой близкий товарищ даже не догадывается,что если считать от происхожде-

ния жизни на земле, то...

— Ладно! — с отчаянием перебил его доктор. — Поменьше читайте книг.

— Слышишь, Ванечка, — шепнул умный Миша, — поменьше книг!

— И пореже ходите на лекции, а почаще в кино, — сказал доктор.

— Слышишь, Ванечка! — шепнул умный Миша. — Боже тебя упаси ходить на лекции — только в кино!

Мы тщательно следили за тем, чтобы глупый Ванечка не нарушал предписаний врача. Мы спрятали от него все книги, и когда он один раз вдруг захотел пойти вместе с нами на лекцию, мы уговорили его лучше сходить в кино.

И каждый вечер, как и прежде, кто-нибудь из нас садился к нему на кровать и спрашивал с участием и надеждой:

— Ну, как дружок, не помогает? Не замечаешь ли ты, что хоть немножечко умнеешь?

Сначала глупый Ванечка говорил, что он ничего не замечает, но приблизительно через месяц заявил:

— Кажется, начинаю замечать, ребята! Только вот что меня беспокоит: допустим, я стану умным — очень хорошо. Я-то буду знать, что я умный, но как сделать, чтобы другие тоже узнали, что я стал умным?

Вот каким неизлечимо глупым был наш Ванечка.

— Может быть, мы за чем-нибудь не уследили? — горько вздохнул Петя Коржик. — Может быть, он тайком от нас сходил на лекцию или начитался книг?

— Нет, — сказал умный Миша, — лечился он добросовестно, и если лечение ему не помогло, то, по-видимому, у нашего Ванечки какое-то патологическое перерождение клеток головного мозга, а это, увы, неизлечимо...

— Бедный Ванечка! — сокрушался Петя Коржик. — Так, видно, ему и на роду написано: оставаться глупым Ванечкой!

И никогда в жизни мы не расстались бы с нашим глупым Ванечкой, а опекали бы его вечно, как и должны умные опекать глупых, если бы в одно из воскресений опять не зашел к нам в комнату комендант.

Он пришел, как всегда, скрипя сапогами, поглядел под кровати, понюхал в углах, расспросил про Ванечку и сказал:

— Мало помогаем парню! Нужно сделать что-то еще.

— Но что? — спросил умный Миша. — Разве и теперь мы испробовали не все средства?

— Не все! — сказал комендант.

— Ведь ум в магазине не купишь, — сострил красавчик Витя.

— Не купишь! — вздохнул комендант.

— Да, ум — это не картошка! — глубокомысленно подтвердил Петя Коржик.

— Не картошка? — спросил комендант и, недолго подумав, сказал: — Не картошка!.. Это мысль: я пошлю его на картошку!

И он послал нашего глупого Ванечку на картошку, так как была осень, и картошку надо было копать.

Всей комнатой мы провожали Ванечку, горько сокрушаясь о его будущем. Мы снабдили его в дорогу крутыми яйцами, маслом и булкой. Дали еще с собой конфет, чтобы не так скучно было ехать, и железнодорожный справочник, чтобы он знал, где выходить.

Мы проводили его до самого вагона, и, когда глупая тюбетеечка скрылась в вагоне, у Пети Коржика даже слезы блеснули на глазах, так жалко ему стало

нашего Ванечку, который может погибнуть без нас на какой-нибудь картофельной грядке, как былинка в поле. Разве он обойдется без нас, наш глупый Ванечка? Разве он сможет самостоятельно жить на свете, наш беспомощный Ванечка?

Заглянув в окно вагона, мы увидели, что Ванечка уже расположился на своей полке, сразу принявшись за яйца и булку, а как раз против него сидит девушка с кругленьким личиком, похожим на спелое яблоко, с круглыми, как у теленочка, глазами и такая миловидная, что красавчик Витя даже вскрикнул:

— Ах, черт! Ну и повезло же нашему Ванечке! Да разве он сумеет воспользоваться таким соседством? Вот мне бы туда, а не Ванечке!

Глупый Ванечка действительно не обращал на соседку никакого внимания и, улыбнувшись друзьям, стал намазывать масло на булку.

— Ах, какие у вас интересные товарищи! — сказала девушка, когда поезд тронулся. — Такие товарищи!.. Такие товарищи!..

— Хе! — сказал глупый Ванечка, и это могло означать что угодно.

— Ах, какая у вас чудесная тюбетеечка! — сказала девушка. — Такая красивая, такая пестрая, такая круглая тюбетеечка!

— Хе! — сказал глупый Ванечка и поглядел на девушку с любопытством.

— Какая это станция? — спросила девушка, когда поезд стал замедлять ход.

— Поповка! — сказал глупый Ванечка.

А когда поезд остановился, девушка выглянула в окно и воскликнула:

— Действительно Поповка! Ах, какой вы сообразительный!

— Как вы сказали? — спросил Ванечка. — Я?.. Сообразительный?..

— Как вы догадались, — удивилась девушка, — что сейчас будет именно Поповка?

— Я не догадался, — сказал Ванечка, — я посмотрел в железнодорожный справочник.

— Ах, как это умно, — сказала девушка, — что вы захватили с собой железнодорожный справочник!

— Как? — спросил Ванечка. — Вы сказали, что это умно?

— Это не только умно, но и предусмотрительно, — ответила девушка, пудря носик. — Может, выйдем, пройдемся по платформе?

— Почему ж не пройтись, — сказал Ванечка, — хотя я и не очень понимаю, зачем ходить, если можно сидеть. Между прочим, лично я скоро лягу, потому что я также не понимаю: зачем сидеть, если можно лежать.

И девушка, услышав это, смеялась так, что просыпала пудру. И, смеясь, она говорила:

— Ой, да вы уморите меня своим остроумием! Я просто в жизни не встречала такого остроумного и находчивого молодого человека!

— Остроумного?.. — сказал Ванечка. — Находчивого?.. Вы удивительная девушка, — сказал он, — я готов гулять с вами по платформе хоть до конца жизни!

Не доезжая станции Березовка, он починил застежку-молнию на сумочке своей соседки. Не доезжая станции Васильевка, он прочитал четвертый том собрания сочинений Чарльза Дарвина, купленный на станции Антоновка. А не доезжая станции Сосновка, он уже рассуждал с соседями по вагону о происхождении видов, и все удивлялись тонкости его умозаключений.

Через полтора месяца он вошел в нашу комнату в кепке,в начищенных ботинках,с книгами под мышкой,

и под руку вел молодую жену.

Раньше чем мы успели что-нибудь сказать, он уже объявил, что пришел за своими вещами, что перевелся на другую работу, что получил комнату в новом доме, что спешит на лекцию о браке и семье.

— Вернулся! — закричал умный Миша и бросился к нему. — Наконец-то вернулся наш милый, наш глупый Ванечка!

Но Ванечка, услышав это, положил книги на тумбочку, отпустил руку жены и, приблизившись к умному Мише, сказал так:

— Ну вот, теперь мы разберемся, кто тут умный, а кто глупый!

Разбирались они недолго.

И с тех пор никто не называл нашего Ванечку глупым Ванечкой.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСЕЛ

Умный Миша любил животных. И животные любили его. Его любили собаки и кошки, коровы и лошади, козы и свиньи. Свиньи любили его особенно. Стоило им издали заметить его глубокомысленную походку и

многозначительные очки, как они бежали навстречу, восторженно хрюкая.

Но умный Миша отдавал предпочтение ослу.

Осел служил в доме отдыха.

Он возил воду.

Он был серый, ушастый и симпатичный.

Он так привязался к умному Мише, что повсюду брел за ним, шевеля ушами. Когда Миша отправлялся купаться, осел стоял на берегу и преданными глазами глядел на море. Когда Миша лежал на траве, читая книгу, осел заглядывал в книгу через его плечо. Когда Миша смотрел кино или слушал лекцию, осел стоял под окнами красного уголка и жалобно ревел, чтобы и его пустили в кино или на лекцию. А когда над морем всходила луна и на какой-нибудь романтической скамейке, укрытой от посторонних глаз пышными тропическими растениями, Миша объяснял девушке, чем отличается любовь от дружбы, — вдруг раздвигалась листва и сквозь ветви деревьев просовывалась любопытная и доброжелательная ослиная морда.

Миша ценил преданность осла и на его любовь отвечал любовью.

Что-то влекло их друг к другу.

Их дружба была омрачена только одним обстоятельством: осла все считали ослом.

Ослом считал его завхоз. Ослом считали его нянечки. Ослом считали его отдыхающие.

Они говорили:

— Ведь это только подумать: кто бы другой, кроме умного Миши, мог заслужить такую ослиную привязанность?

А культработник, приглашая умного Мишу на лекцию с танцами, просил:

— Только уж, пожалуйста, приходи без своего осла, потому что он, хотя и очень симпатичный осел, но всё-таки — осел!

И умный Миша догадывался, что, считая осла ослом, окружающие бросают на его дружбу с ослом какую-то тень, придают ей какое-то обидное значение. И это очень его огорчало.

Однажды даже он сказал культработнику:

— Я совершенно не понимаю, зачем надо обязательно подчеркивать, что осел это осел?

— А разве он не осел? — спросил культработник.

— Нет, я не оспариваю, что он осел, — ответил умный Миша. — Я не дурак, чтобы это оспаривать. Но ведь надо понимать, что осел ослу рознь и не всякий осел в действительности осел.

Но, несмотря на это объяснение, все продолжали считать осла ослом, а умный Миша по-прежнему обижался и от всей души желал, чтобы его любимого осла, в отличие от всех других ослов, не считали ослом.

Однажды, гуляя с ослом, он сказал ему так:

— Вот что, дружище осел! Я отлично понимаю, как должно тебя обижать то, что все считают тебя ослом. Я много думал об этом и пришел к выводу, что действительно пора тебе перестать быть ослом. И это вполне возможно осуществить, потому что человек, как известно, довольно успешно преображает природу, тем более человек образованный и неглупый. И я преображу тебя, дружище осел! Вопрос только в том, в кого тебя преобразить?.. Исходя из интересов дома отдыха, разумнее всего было бы преобразить тебя в автомобиль, но для этого нужен мотор, а достать мотор я не берусь. Можно было бы преобразить тебя в вола, но для вола у тебя маловат рост. Логичнее всего было бы преобразить тебя в лошадь, но лошадь должна ржать,

а этого я, к сожалению, и сам не умею. Придется преобразить тебя в человека.

Если бы осел не был ослом, он ответил бы умному Мише так:

— Нет, дружище! Я никогда не слышал, чтобы осел стал человеком. Оставь, брат, это дело. Пусть уж лучше я по-прежнему буду ослом.

Но так как он был ослом, и к тому же весьма доверчивым ослом, он не сказал этого.

Во время мертвого часа, когда все в доме спали, Миша увел осла в кусты и там надел на него светлосерые брюки в полоску, рубашку кремового цвета и галстук, пестрый, как цветная открытка.

Очки придали ослиной морде вид глубокомысленный и интеллигентный. Ослиные уши были спрятаны под фетровую шляпу.

Когда кончился мертвый час, умный Миша вывел преображенного осла на улицу и сказал ему:

— Ну, дружище, теперь изволь держаться как человек, потому что только самый опытный зоолог сможет распознать в тебе осла... — И он щелкнул крышкой портсигара: — Не хочешь ли закурить?

Но первый же отдыхающий, который вышел в полосатой пижаме купить мороженого, увидев их, взмахнул руками и закричал:

— Ой, держите меня! Ой, умру! Поглядите, как вырядился этот осел!

Отдыхающие выбежали из домов отдыха и санаториев. Сестры и нянечки в белых халатах высунулись из окон. Чистильщики сапог вскочили со своих табуреток. Мальчишки, бежавшие к морю в одних трусах, присели на корточки и схватились за свои поджарые, голые и черные животы. И все хохотали, подталкивая друг друга локтями и кричали.

— Глядите! Глядите! Осел — а в штанах и шляпе!

И умный Миша шепнул ослу:

— Пойдем, дружище, домой. Как видно, человек отличается от осла не только штанами и шляпой.

И по дороге к дому он рассуждал:

— Дело, по-видимому, не в одежде, а в чувствах. Чтобы осел стал человеком, он должен познать высокие и благородные чувства, — такие, как долг, честь, любовь. Я думаю, что легче всего нам начать с последнего. Я научу тебя, дружище, любить той чистой, одухотворенной любовью, которая с древних времен вдохновляет поэтов и лекторов по вопросам морали. Такой любви не знает ни одно, даже самое благородное, животное, такая любовь свойственна только человеку.

И умный Миша научил осла такой одухотворенной любви, потому что это был восприимчивый осел, а умный Миша был исполнен самых горячих дружеских намерений.

Осел полюбил.

Он полюбил не очень молодую и не очень красивую учительницу ботаники, девушку чрезвычайно строгих нравственных правил, которая никогда не была замужем, потому что ей казалось, что все ее поклонники смотрели на нее только как на женщину, а не как на учительницу ботаники. Это чрезвычайно оскорбляло ее строгую нравственность, и она отвергала поклонника за поклонником до тех пор, пока все стали смотреть на нее только как на учительницу ботаники, и тогда уж ей не пришлось больше никого отвергать.

Осел полюбил ее той возвышенной и одухотворенной любовью, на какую не способно ни одно животное.

Днем он шел к школе и молча стоял под окнами, понурив морду, и слушал, как учительница объясняет

детям, что такое тычинки и пестики.

Когда она возвращалась из школы, он поджидал ее за каким-нибудь углом и клал к ее ногам полуразжеванные пучки цветов, которые он приносил с гор для ее гербария. А вечером, когда луна освещала стройные кипарисы, цикады пели в кустах, а влюбленные прижимались друг к другу, — на высоких скалах появлялся тоскующий осел. Морской ветер заламывал поля его шляпы и раздувал макинтош. Он бродил один с отчаянным видом, иногда останавливаясь над бездной и размышляя, не броситься ли ему в морскую пучину, но в пучину он не бросался, а только ревел таким трагическим голосом, что цикады смолкали, потрясенные силой его страсти.

А умный Миша, сидя в саду, говорил девушкам:

— Вы слышите? Какое благородство чувства! Какая тонкость переживаний! Ну, кто скажет, что это осел?

Но девушки не слушали его. Они бежали к морю. Влюбленные размыкали объятия. Они кричали:

— Где тут, где тут влюбленный осел? Бежим скорее, бежим поглядеть на ослиные нежности!

И утром умный Миша увел осла в горы.

Он сел на камень, подпер рукой щеку и стал думать.

А осел, в очках, макинтоше и шляпе, щипал траву.

— Не унывай и не отчаивайся, дружище! — сказал умный Миша. — Я не такой дурак, чтобы думать, что преобразование природы дело легкое. Нет, я отлично понимаю, что оно требует терпения и упорства. По-видимому, — сказал он, кусая ногти, — чтобы осел стал человеком, ему недостаточно носить человеческую одежду и познать человеческие чувства. Дело, наверное, в должности. Может быть, попробовать устроить тебя завхозом в какой-нибудь санаторий?..

И возможно, что умный Миша устроил бы осла завхозом в какой-нибудь санаторий, но как раз в это время кончился срок его путевки, и умный Миша уехал домой, в наши края, где, как известно, ослов нет.

И он увез с собой свои штаны, очки и шляпу.

А осел остался.

Он и сейчас служит в доме отдыха.

Возит воду.

Он опять стал серым, ушастым и симпатичным.

Он щиплет траву, помахивает хвостом и шевелит ушами.

И все относятся к ослу очень хорошо.

СТАРЫЙ ЮНОША

Когда-то профессор Мойкин тоже был молодым, как это ни странно. Когда-то ему тоже было восемнадцать лет. У него тогда еще не было морщин, ревматизма и одышки. У него были румяные щеки, спелые губы и звонкий смех. И сколько он ни смачивал свою макушку водой или одеколоном, волосы всегда там торчали забавным русым хохолком.

В то время его еще называли Федей Мойкиным, но уже тогда он был очень рассудительным.

Вот в этом-то всё и дело.

Он всегда был рассудительным, с самого юного возраста, так что один раз ему даже поручили сделать доклад на тему: «Рассудок и его значение для молодого человека нашего времени». И все мы после этого доклада стали такими рассудительными, что когда нам хотелось мороженого, то мы сдерживали в себе это безрассудное желание и покупали витамин С или рыбий жир. А когда нам хотелось заговорить с какими-нибудь незнакомыми девушками, то мы сдерживали в себе и это безрассудное желание и заговаривали только с уже знакомыми девушками.

Но нашей рассудительности хватало всего на несколько дней, а потом мы снова предавались безрассудным юношеским порывам: покупали мороженое и знакомились с незнакомыми девушками.

И Федя Мойкин вместе с нами: потому что, несмотря на всю его рассудительность, молодость брала свое.

Но у Феди Мойкина была учительница. Она была старая и строгая. Никогда в жизни у нее не было ни мужа, ни друга, ни брата, ни сына, ни дочери, ни внука, ни дяди, ни тети, а были у нее только ученики.

И Федя Мойкин был ее любимым учеником.

— Ты, мой друг Мойкин, обладаешь выдающейся рассудительностью, — говорила она. — Ты, мой друг Мойкин, обязательно должен стать профессором, — говорила она. — Но для этого надо жить не так, как живут шалопаи и ветреники, а нужно учиться с утра до вечера, ничем не отвлекаясь и не теряя ни одной минуты на праздные забавы.

А Феде Мойкину очень хотелось стать профессором. Он решил последовать ее совету и учиться с утра до

вечера, ничем не отвлекаясь и не теряя ни одной минуты на праздные забавы.

И он, конечно, выполнил бы это разумное намерение, если бы ему ничто не мешало.

Но ему мешала его молодость. Она очень ему мешала.

Только он усаживался с книгой у окна, как видел, что ребята бегут на речку купаться, что на плечах у них вместо рубашек — полотенца, а в руках вместо полотенец — рубашки, и по пути они скачут друг через друга с криком и гиканьем. И бедняга не выдерживал: он перемахивал через подоконник и, на бегу снимая рубашку, прыгал через голые спины друзей, подставляя и им свою голую спину.

Вернувшись с купанья, он снова усаживался у окна и, стиснув руками мокрые уши, говорил себе, что теперь-то уж ничто не отвлечет его от книг и уроков, потому что он отлично понимает, как много книг ему нужно прочитать и как много знаний необходимо приобрести, чтобы стать профессором.

Но, размышляя так, он слышал за окном пронзительный свист и видел над футбольной площадкой тучу пыли. Сквозь пыль можно было разглядеть только рыжего веснушчатого вратаря, который, широко расставив согнутые ноги и упершись руками в грязные коленки, так приплясывал от нетерпения и азарта, что подсохший хохолок на макушке Феди Мойкина внезапно вскакивал и рассудительный юноша, высунувшись из окна, кричал:

— Шляпы! Сапожники! Разве так пасуют? Вот как пасуют!.. — И он прыгал в окно, бросаясь навстречу мячу со всем пылом своих восемнадцати лет.

Мокрый и горячий, он возвращался в комнату и говорил себе так:

— Да будешь ли ты наконец заниматься, мой друг Мойкин? При таком темпераменте ты, мой друг Мойкин, пожалуй, никогда не станешь профессором!

Он закрывал окно и снова садился за книги и уроки. Но, усевшись, он слышал, как кто-то постукивает по стеклу тоненькими пальчиками, и видел прижавшуюся к стеклу нашлепочку носа, раскосые хитрые глазки и веселые губки школьницы Валечки, которые ему ужасно хотелось чмокнуть, хотя бы через оконное стекло.

И он отбрасывал книгу, распахивал форточку и кричал, что он сейчас, что только заложит страницу, что только повяжет галстук, что до начала сеанса еще десять минут...

А утром учительница ему говорила:

— Не понимаю я тебя, мой друг Мойкин! Что тебе мешает с утра до вечера, ничем не отвлекаясь, читать и учиться?

Он переминался с ноги на ногу, приглаживал свой забавный хохолок и отвечал так:

— Ну как вы не понимаете! Разве можно сосредоточиться на книге, когда хочется бежать с мальчишками купаться, играть в футбол, целоваться с девчонками! Тут даже сам Иммануил Кант не усидел бы на месте.

— Странно, — говорила она, — очень странно, что тебе этого хочется. Этого я просто понять не могу. Почему мне вовсе не хочется ни купаться с мальчишками, ни играть в футбол, ни целоваться с девчонками?

— Может быть, потому что я молодой? — говорил он.

— Вполне возможно, — отвечала она, — вполне вероятно, мой друг Мойкин, что именно в этом всё дело. Но поскольку ты юноша рассудительный, то должен и

сам понимать, что когда ты прочитаешь все нужные книги, приобретешь все необходимые знания и станешь профессором, тогда, пожалуйста, бегай, купайся, целуйся с девчонками — я тебе и слова не скажу. А до той поры ты не должен терять ни одной минуты, и надо принять какие-то меры, чтобы молодость тебя не отвлекала от чтения и занятий.

— Но какие я могу принять меры? — говорил Федя Мойкин. — Куда же мне девать свою молодость? Ведь под кровать ее не засунешь?

— Зачем под кровать! — отвечала она. — Под кровать не годится, под кроватью ее мыши могут погрызть, а молодость у человека бывает только одна, и ее надобно беречь. А сберечь ее, мой друг Мойкин, можно хотя бы в ломбарде. Заверни ты свою молодость в газету, перевяжи веревочкой, снеси в ломбард и сдай ее там на хранение, как сдают на лето шубы. Там посыплют твою молодость нафталином, прикрепят к ней ярлычок, выпишут тебе квитанцию, а когда ты прочитаешь все нужные книги, приобретешь все необходимые знания и станешь профессором, тогда предъявишь квитанцию и получишь свою молодость обратно в целости и сохранности.

И рассудительный Федя Мойкин так и сделал. Он завернул свою молодость в газету, перевязал ее крест-накрест веревочкой и отнес в ломбард.

— Вот, — сказал он приемщику, — сохраните, пожалуйста, на несколько лет. Тут всё: вот мои безрассудные юношеские порывы, вот мое стремление к праздным забавам, вот мое желание целоваться с девчонками, а тут мой хохолок, который всегда торчит торчком, сколько я его ни приглаживаю.

Приемщик всё это проверил, пересыпал нафталином, выписал квитанцию, и Федя Мойкин ушел весьма

довольный, что теперь уж ничто не будет отвлекать его от книг и уроков.

И действительно, как только он вернулся домой, так сразу почувствовал, что у него не осталось никаких безрассудных юношеских порывов, что ему не хочется ни предаваться праздным забавам, ни целоваться с девчонками, а хочется только сидеть за книгами с самого утра и до позднего вечера.

И, удивляя всех своим прилежанием, он просидел за книгами много лет: с утра до вечера, зимой и летом, в будни и воскресенья. И когда были прочитаны все нужные книги и приобретены все необходимые знания, он стал наконец профессором.

В этот день ему стукнуло пятьдесят восемь лет, из которых сорок лет он не тратил ни минуты на праздные забавы. Пятьдесят восемь лет стукнули его так сильно, что теперь он сидел в своем кресле, трясясь от старческой немощи, седенький и лысенький, окруженный своими внучатыми племянниками, которые читали ему статьи, превозносящие его обширные знания.

«Вот теперь, — думал он, кутаясь в теплый халат и шаркая по полу войлочными туфлями, — я вполне могу наверстать упущенное и насладиться своей молодостью. А то, мой друг Мойкин, пожалуй, так и помрешь, не отведав молодости, о которой люди говорят, что это лучшая пора жизни».

И, вызвав такси, он отправился в ломбард, разыскал то окошечко, куда предъявляют квитанции, чтобы получить обратно вещи, сданные на хранение, и вскоре ему принесли его молодость, завернутую в пожелтевшую газету и перевязанную крест-накрест веревочкой.

— Большое спасибо! — прошамкал он беззубым ртом и, как только взял свою молодость в руки, так

сразу почувствовал какое-то странное волнение в крови и легкий зуд на лысой макушке.

Не каждому удается на старости лет получить обратно свою молодость, и старый Мойкин нес ее бережно, опасаясь, как бы не уронить на пол, не помять под мышкой и не забыть в такси.

Придя домой, он развязал веревочку, развернул газету и нашел свою молодость свежей, как в тот день, когда он снес ее в ломбард. Всё было в полной сохранности: и безрассудные юношеские порывы, и стремление к праздным забавам, и желание целоваться с девчонками. Даже русый хохолок по-прежнему вскочил торчком на его гладенькой лысине.

И Мойкин снова стал юношей.

Только теперь он стал старым юношей.

Вот в этом-то всё и дело.

Но об этом он не подумал, и, увидев, что внучатые племянники с криком и гиканьем бегут к реке купаться, он поддался своему безрассудному юношескому порыву, распахнул окно и крикнул:

— Постойте! Постойте! И я с вами!

И с юношеским пылом, кряхтя от старческой немощи, стал взбираться на подоконник.

— Поглядите! Дедушка в окно лезет! — закричали внучатые племянники. — С ума он сошел от старости, что ли?

А их юный дедушка, с трудом взбираясь на подоконник, чувствовал такую усталость и одышку и так ему стало холодно у раскрытого окна, что он подумал: «Действительно, с ума я сошел от молодости, что ли? Какое может быть удовольствие в том, чтобы прыгать в окно, бежать по улице и бросаться в холодную реку, когда можно, не выходя из дому, принять теплую ванну...»

И внучатые племянники, не добежав до реки, вернулись обратно. Они помогли своему дедушке слезть с подоконника, они привели его к дивану, укрыли пледом, положили мокрое полотенце на голову и горячую грелку к ногам и, убежав играть в футбол, оставили возле дедушки одного из внучатых племянников, приказав оказывать дедушке почет и читать ему вслух статьи, превозносящие его обширные знания.

За окном метались ветви деревьев, стал накрапывать дождь, а в комнате было тепло и тихо. Старый юноша лежал на диване, грея под пледом свои старые кости, испытывая желание целоваться с девчонками и прислушиваясь к хрусту своих подагрических суставов.

В это время он заметил прижавшуюся к оконному стеклу нашлепочку носа и хитрые раскосые глазки какой-то школьницы. И, почувствовав, что подсохший хохолок снова вскочил на его гладенькой лысине, он отпихнул ногой грелку и закричал, что он сейчас, что только наденет брюки, шерстяную фуфайку, вязаный жилет и ботинки с галошами.

Но, оглянувшись вокруг, он увидел спину своего внучатого племянника, который уже выпрыгивал из окна к хитроглазой школьнице, и, сколько старый юноша ни кричал, он не мог его докричаться.

И, лежа в одиночестве, он думал: «Как видно, это старость мешает мне наслаждаться молодостью. Не попробовать ли сдать свою старость в ломбард, как прежде я сдал свою молодость, а когда наслажусь молодостью досыта, тогда съезжу в ломбард, предъявлю там квитанцию, получу обратно свою старость и умру в глубокой старости, как приличествует солидному профессору».

Так он и решил сделать. На следующий день встал чуть свет, завернул свою старость в газету, перевязав

ее крест-накрест веревочкой, и, вызвав такси, повез в ломбард.

— Примите, пожалуйста, мою старость, — сказал он приемщику. — Вот моя старческая немощь, вот мои морщины, вот лысина, а это проклятая подагра, из-за которой я не могу даже влезть на подоконник.

— Не всё, папаша, — сказал приемщик.

— Ах, простите, — воскликнул Мойкин, — я совсем забыл про склероз! — И он протянул в окошко свой склероз. — Вот теперь уже, кажется, всё.

— Нет, папаша, — сказал приемщик, — комплект не полный. Какая же это старость без тех знаний, которые вы всю жизнь приобретали? А ну-ка выкладывайте сюда свою ученость, и заработки тоже, и почет не забудьте — тот почет, который вам оказывает весь город.

— Как? — закричал Мойкин. — Что же останется мне?

— А молодость? — сказал приемщик.

— Только молодость? — воскликнул Мойкин. — И я опять стану глупым и невежественным мальчишкой, каким был в восемнадцать лет?.. Нет уж, покорно благодарю! Отдавайте обратно мою лысину и морщины, мою подагру и мой склероз. Уж лучше я останусь со своей старостью, а что касается молодости, так я подумаю, как бы мне всё-таки ею насладиться.

И, забрав свою старость, он поехал домой, обдумывая, как бы насладиться своей молодостью.

Но старость — это старость, и если человеку недавно стукнуло пятьдесят восемь лет и он встал чуть свет, ездил в ломбард и спорил с приемщиком, то, когда он возвращается домой, ему уже не до молодости, — ему дай бог только добраться до дивана и вытянуть усталые ноги.

А когда он добрался до дивана и вытянул усталые ноги, то сразу стал похрапывать.

Проснувшись, он заметил свою молодость.

Она валялась возле дивана на полу, рядом с войлочными туфлями.

«Что мне с ней делать? — думал он. — Только сор от нее...»

И велел вынести ее в чулан.

— Как, дедушка, вы хотите выбросить свою молодость, так и не насладившись ею? — спросили у него внучатые племянники.

— Что ж поделать, — вздохнул он, — зато я стал профессором, которого знает весь город.

А в полдень ему позвонили по телефону и сообщили, что его желает видеть академик, которого знает весь мир.

— Ай! — закричал Мойкин. — Я так польщен, я так взволнован! Дайте мне скорее бром с валерьянкой! Дайте мне скорее шляпу и палку и вызовите машину!

Академик был толстый, седой и краснощекий. Увидев Мойкина, он весело закричал:

— Здорово, Мойкин! Здорово, дружище! Сколько лет, сколько зим!

— Простите, — сказал Мойкин, — разве мы с вами знакомы?

— А как же, — ответил академик, — футбольную площадку помнишь? Вратаря помнишь?

— Рыжего? — спросил Мойкин.

— Рыжего, — ответил академик.

— Такого ветреного шалопая? — спросил Мойкин.

— Шалопая, — ответил академик.

— Который меня от занятий отвлекал?

— Того самого, — ответил академик. — Хорошее время — молодость.

— Хорошее? — спросил Мойкин.

И когда он вернулся домой, то, размышляя о словах академика, он заглянул в чулан, где валялась его молодость.

Но там было темно, и он ничего не мог разглядеть.

И до сих пор валяется его молодость в чулане вместе с ломаным велосипедом без одного колеса, продырявленным стулом, заржавленными коньками и старой клизмой, у которой разбита кружка и остался только шланг с наконечником.

ЗАБЫТАЯ КЕПКА

Это такая наивная и непоучительная история, что даже рассказывать ее стыдно, тем более что кто-нибудь может подумать, будто я против размышлений и считаю, что совершать необдуманные поступки лучше, чем обдуманные.

Нет, совсем наоборот: я очень люблю размышлять и при всяком удобном случае размышляю о том и о сем, и семь раз примеряю, прежде чем один раз отрежу, и считаю, что лучше совершить один обдуманный

поступок, чем десять необдуманных. И вот, руководствуясь такой мудростью, я довольно благополучно добрался до пятидесяти с лишним лет, и хотя нажил за эти годы лысину, одышку, ревматизм и грудную жабу, но зато окружен теперь нежными детьми и веселыми внуками, что на старости лет надо считать большой удачей.

А вот Феде Мойкину, другу моей юности, повезло меньше. У него до сих пор нет ни внуков, ни детей, ни жены, хотя всю жизнь он был таким рассудительным, что шагу не решался ступить, не обдумав этот шаг предварительно; даже зачерпнув ложкой суп из тарелки, он сначала не спеша поразмышляет о том, что делать дальше и какие это может иметь последствия, а потом уж сует ложку в рот.

Так он размышлял по всякому поводу без особого для себя ущерба вплоть до той весны, когда небывалая в наших краях эпидемия охватила все наше общежитие, всю улицу и, как говорят, даже весь город.

Весна в тот год была чудесная, вся в лучах, в брызгах и сверкающих каплях. Все мы были погружены в обычные весенние заботы: готовились к экзаменам, ремонтировали велосипеды, радовались тому, что пригревает солнышко и распускаются на деревьях почки, и ничто не предвещало беды, пока весенний ветер не занес на нашу улицу любовных микробов.

Эпидемия распространялась со страшной быстротой, и уже через несколько дней все мы тяжко вздыхали, писали нежные стихи и признавались друг другу в сердечных тайнах.

Любовные микробы, по-видимому, были рассеяны повсюду: в дождевых капельках, на зеленых листиках, в складках девичьих платьев и даже в звонках трамваев, которые плыли по улицам, как певучие флейты.

Любовь подстерегала нас, куда бы мы ни шли — на работу, в школу, в клуб, в магазин или в кино. И к началу мая уже были влюблены все мальчики и все девочки, все парни и все девушки, и даже некоторые пожилые мужчины и женщины, и даже три старичка и шесть старушек.

Дольше всех держался Федя Мойкин.

Размышляя о том, что влюбленные опаздывают на работу, проводят ночи без сна и худеют, не встречая взаимности, он старался пореже выходить из дому, особенно в вечерние часы, когда опасность заражения наиболее велика. Он ходил только на завод, так как заводы и фабрики, несмотря на эпидемию, всё еще продолжали работать; в столовую, так как без обеда не могли обойтись даже влюбленные; и в баню, где благодаря разделению полов опасность заражения была наименьшей.

Соблюдая разумную осторожность, он быстро шел по улице, и хотя мимо него шли чудесные девушки, черненькие и беленькие, высокие и низенькие, тоненькие и толстушки, и хотя каждая из них могла бы воспламенить нас, как спички, если бы мы уже не пылали, как факелы, Федя Мойкин шел мимо них, предусмотрительно обдумывая каждый шаг и каждый взгляд, и мы были уверены, что он, единственный из нас, сбережет в эти тревожные дни свой душевный покой.

Но мы ошиблись.

Любовь подстерегла Федю Мойкина не на заводе, не в школе, не в клубе и не в кино. Любовь подстерегла его в бане, возле киоска с аптекарскими товарами. Там стояли три девушки. Одна из них покупала мочалку. Это была красавица Катенька, в которую влюблялись все пареньки с нашей улицы, как только им исполня-

лось восемнадцать лет. И не влюбиться в нее в восемнадцать лет было так же невозможно, как в девятнадцать лет обойтись без бритвы.

И как только Федя Мойкин увидел ее, так в тот же миг и полюбил без всяких предварительных размышлений.

До сих пор он совершал лишь обдуманные поступки и всё в жизни делал как надо. Но вдруг он стал совершать лишь необдуманные поступки и всё делать наоборот.

Ему следовало пойти вместе с нами к мужскому отделению бани, а он пошел вслед за красавицей Катенькой к женскому. Ему следовало вымыться, как вымылись мы, а он остался немытым. Ему следовало подумать о том, что сказать Катеньке, когда она выйдет из бани, а он ни о чем не подумал, а просто взял из ее рук мокрую мочалку, и пошел провожать ее домой, и молча сидел у нее весь вечер, глядя на нее влюбленными глазами. А когда она сказала, что он славный мальчик и что пусть придет завтра, то он так растерялся, что, уходя, даже забыл у нее свою кепку.

И всю ночь не спал Федя Мойкин. Мы не спали в эту ночь тоже. Мы слушали, как бьется его сердце.

— С кем оно так бьется? — спросил один из нас, приподнявшись в темноте на своей кровати.

— Разве ты не слышишь? — сказал другой. — Оно бьется с его рассудком.

Оно билось, как в стены темницы, маленькое, неопытное и отчаянное сердце влюбленного паренька.

«Доверься мне, — молило оно, — доверься. Ты любишь Катеньку, иди к ней завтра. Разве я враг тебе? Разве я не хочу тебе счастья? Доверься мне не раздумывая, доверься бесстрашно, — это и есть любовь».

Но рассудок говорил спокойно и властно:

«Не делай глупости, Федя Мойкин. Разве для того ты окончил школу, ходил на лекции и читал умные книги, чтобы довериться какой-то жалкой мышце, безответственной и безрассудной?»

«Не слушай его, — молило сердце, — он трусливый и недоверчивый...»

«Я мудрый и опытный, — говорил рассудок. — Сердце умеет только любить и ненавидеть, радоваться и горевать, а я умею обобщать и сравнивать, и делать выводы, и предвидеть будущее. Меня обучили физике и химии, географии и истории, а сердце осталось неграмотным, его нельзя обучить ничему».

«Цветок тоже нельзя ничему обучить, — молило сердце, — и речку тоже, и небо, и солнце. Доверься мне, доверься!..»

Оно билось с такой отчаянной яростью, безответственное и неграмотное, смелое и доверчивое сердце Феди Мойкина, что железная сетка под его матрацем звенела на всю комнату.

Но утром, когда солнечные лучи робко прокрались из-за занавески, и мы уже делали утреннюю гимнастику, и радио орало на полную громкость, рассудок Феди Мойкина победил его безрассудство.

«Нет, это не настоящая любовь, а только легкое увлечение, и идти к Катеньке мне не следует, — говорил рассудок Феди Мойкина. — Если бы я полюбил по-настоящему, то был бы готов на всякие безумства, а я еще готов не на всякие...» Так убеждал себя Федя Мойкин всё утро, весь день и весь вечер.

И чем больше он убеждал себя, тем труднее ему было решить: любит он Катеньку или не любит и стоит ему к ней идти или не стоит.

И он продолжал размышлять об этом всю неделю и весь месяц, потому что знал, что надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать.

И он продолжал размышлять всю весну, всё лето, всю осень и всю зиму.

А когда наступила следующая весна и любовные микробы опять стали появляться в дождевых капельках, на зеленых листиках и в складках девичьих платьев, Федя Мойкин пришел всё-таки к решению, что он любит красавицу Катеньку, как еще никогда никого не любил, и что он должен пойти к ней и сказать ей об этом.

И он пошел к красавице Катеньке, он поднялся на четвертый этаж и, задыхаясь от робости, тревоги и надежды, уже собирался было нажать кнопку звонка, как вдруг дверь открылась и на пороге появилась Катенька. И как только Федя Мойкин увидел ее, так сразу же понял, что такое счастье, о котором люди мечтают испокон веков.

Он понял это и чуть было не закричал от радости, но закричать не успел, потому что за спиной Ка-теньки увидел могучего парня, который, держа в руках закутанного в одеяло младенчика, сиял от гордости, как электрическая лампочка в двести ватт.

— Здравствуй, Федя, — сказала красавица Катенька. — Как давно ты не приходил, да и сейчас не вовремя. Вот мы нашего ребеночка несем в консультацию. Если хочешь, подожди. Мы вернемся и расскажем тебе, сколько он прибавил в весе.

И так как Федя Мойкин был парнем весьма рассудительным, и никогда не делал ничего необдуманного, и знал, что надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, то и в этом случае он поразмышлял

предварительно минуту или две, а потом сказал так тихо, что Катенька даже не расслышала:

— Я за кепкой, Катенька. Я забыл у вас свою кепку. — И вдруг всхлипнул неожиданно и необдуманно и сказал еще тише: — Ну да ничего, я и без кепки как-нибудь... — и стал пятиться назад, вниз по лестнице, такой испуганный и несчастный, будто никогда в жизни ему не понадобится больше ни кепка, ни фуражка, ни шляпа, ни ушанка, ни берет, ни тюбетейка.

А ночью мы опять слышали, как стучит сердце Феди Мойкина.

«Тут-тук, — стучало оно тихо и робко, — почему ты веришь своему рассудку и своим глазам, своим учителям и своим книгам, и только мне ты не веришь, и боишься меня, и стыдишься, точно я дикий зверек, которого надо держать в клетке или на привязи? Тут-тук, — стучало оно, — тук-тук».

И мы, высунув головы из-под одеял, долго слушали в темноте, как стучит и жалуется маленькое обиженное сердце нашего товарища.

ВОЛШЕБНЫЕ ТАПОЧКИ

Сеню Пташкина знает вся наша улица. Когда он идет в кино, или на стадион, или на свидание, скромный, чуть смущенный и симпатичный, все парни и все девушки замедляют шаг и, кивая в его сторону, говорят:

— Вон идет знаменитый Сеня Пташкин, о котором писал сам академик Щеголь!

Он работал на обувной фабрике, в цехе тапочек, и был пареньком ничем не приметным: вперед никогда не совался, прочитанными книжками не хвастался; все шутят — и он шутит, все идут в баню — и он в баню, все влюбляются — и он влюбляется.

А между тем в своем цехе он пользовался большим уважением, потому что шил такие легкие, мягкие и во всех других отношениях замечательные тапочки, что не одна пара ног должна была бы благодарить его пару рук. Но ноги, как известно, безгласны. Поэтому ничто не обещало Сене Пташкину славы.

И он неплохо обходился без славы, вполне удовлетворяясь тем, что зарабатывал прилично и каждый вечер ходил в кино, на стадион или на свидания с девушками.

Так бы Сеня Пташкин, наверно, и прожил без славы всю свою жизнь, если бы из разговоров с товарищами не узнал, что наш поэт и красавчик Витя Влюбченко надеется прославиться своими стихами, умный Миша — критическими статьями, Никита Муд-рейко — научными исследованиями, а Шурик Трифонов — пляской вприсядку. И хотя Сеня Пташкин был парень неглупый и отлично понимал, что слава — это не предмет первой необходимости, как, допустим, штаны, без которых не пойдешь даже в баню, но всё-таки он опасался, что все его друзья прославятся, а он один останется никому не известным.

И это его очень тревожило.

Однажды, уже поздно вечером, когда мы улеглись в постели и собирались погасить свет, он спросил, весьма озабоченный:

— Скажите, ребята, как вы думаете, может ли человек прославиться своими тапочками?

Никита Мудрейко ничего не ответил, потому что уже спал. Витя Влюбченко ответил, что слава — это дым. А умный Миша, откинув одеяло, сел на кровати, надел на свой маленький носик очки и сказал так:

— Слава — это, безусловно, дым, а мечты о славе — явный пережиток капитализма. Но пока ты еще не вывел этого родимого пятнышка из своего сознания, я скажу тебе прямо, что прославиться тапочками нельзя, потому что тапочки — изделие анонимное.

— А не попробовать ли мне на тапочках писать свое имя? — спросил Сеня Пташкин.

— Напрасно, — сказал умный Миша. — Имя известного человека должно быть у всех на языке, но я никогда не слышал, чтобы имя известного человека было у всех на ногах. А если тебе так уж хочется прославиться, то я советую заняться искусством. Не можешь ли ты, скажем, рисовать?

— Смотря что, — ответил Сеня Пташкин. — Ступню я рисовал много раз, потому что без нее подметки не выкроишь, но достаточно ли уметь нарисовать ступню, чтобы стать художником, в этом я не уверен.

— Почему же не достаточно? — сказал умный Миша. — Разве ступня состоит не из таких же тканей, как и другие части тела? И если ты уже сейчас можешь нарисовать ступню, то, когда поучишься, вполне сможешь нарисовать и всего человека. Так что давай не теряй зря времени. Иди завтра в Дом культуры, запишись в кружок юных художников, и я совершенно уверен, что не пройдет и двух лет, как твоя картина появится на выставке и на нее обратит внимание сам академик Щеголь, который не так давно читал у нас лекцию об итальянском художнике Леонардо да Винчи и прославил его на всю нашу улицу.

И на следующий день Сеня Пташкин пошел в Дом

культуры кожевников и записался в кружок юных художников.

Кружком юных художников в этом Доме культуры руководил один весьма известный художник, который сам умел писать очень хорошие картины, но совершенно не умел учить этому других.

— Мои дорогие юные друзья, — говорил он, — чтобы стать хорошим художником, в первую очередь необходимо иметь краски и кисти. Но если бы весь секрет был только в этом! Нет, друзья мои, я думаю, что, для того чтобы прославиться на столетия, надо иметь еще холст и подрамник!

Так он учил юных художников.

Сеня Пташкин купил себе краски и кисти, холст и подрамник, потерял всякий интерес к шитью тапочек, перестал ходить в кино, на стадион и на свидания с девушками и, каждый вечер приходя в Дом культуры учиться рисовать, чувствовал, что он день ото дня творчески растет.

Сначала он умел рисовать только ступню человека, потом научился рисовать всю ногу, потом — обе ноги, а потом — и всего человека. Не прошло и двух лет, как он написал свою первую картину, которая называлась «Портрет». Взял он эту картину под мышку, сдвинул на белокурый затылок кепку и пошел на выставку.

Картину повесили, а Сеня Пташкин скромненько отошел в сторонку и стал ждать славы.

Пришел на выставку умный Миша, надел очки, встал на цыпочки, чтобы получше всё рассмотреть, и сказал так:

— Молодец, Пташкин! Это тебе не тапочки. Выдающееся ты создал произведение. Ведь это только подумать, какое тут нарисовано типичное лицо: наверху

у него лоб, внизу — подбородок, а посредине — нос, и в носу две дырочки. Удивительно всё верно схвачено. Теперь уж у меня нет никаких сомнений, что стоит академику Щеголю увидеть твою картину, так сразу же он и прославит тебя на всю нашу улицу, как прославил Леонардо да Винчи.

И только он это сказал, как вошел академик Щеголь.

Он был старенький, сухонький и седенький. Две маленькие старушки набожно вели его под руки, а он кряхтел и охал при каждом шаге.

— Товарищ академик, — сказал умный Миша, — я вас очень прошу взглянуть, какая здесь висит картина.

Кряхтя и охая, подошел академик к картине, поглядел на нее спереди, поглядел справа, поглядел слева и сказал:

— Что ж, картина? Ничего картина. Пусть висит.

Не принесла эта картина славы Сене Пташкину.

— Странно, — сказал умный Миша. — Очень странно; просто даже непонятно. Может быть, тебя неправильно учили, Пташкин?

— Может быть, — вздохнул Сеня Пташкин.

— Может быть, тебе надо рисовать не портреты, а натюрморты? — сказал умный Миша.

— Возможно, что в этом всё дело, — согласился Сеня Пташкин.

— Вот у пищевиков, говорят, учат рисовать натюрморты. Сходил бы ты в Дом культуры пищевиков.

И на следующий день Сеня Пташкин взял свою картину под мышку, сдвинул на белокурый затылок кепку и пошел в Дом культуры пищевиков.

Кружком юных художников там руководил один весьма неизвестный художник, который сам хороших

картин писать не умел, но зато отлично умел учить этому других.

Поглядел он на картину Сени Пташкина и сказал так:

— Ну конечно, мой мальчик, вас учили неправильно. Чтобы прославиться на столетия, надо иметь не только краски и кисти, холст и подрамник, но еще усердие и терпение.

А усердие и терпение Сени Пташкина были неистощимы. К тому же, стоя за мольбертом в своих чудесных тапочках, он нисколько не чувствовал усталости и мог рисовать хоть весь вечер и всю ночь без передышки. Поэтому не прошло и двух лет, как он принес на выставку новую картину, которая называлась «Натюрморт».

Пришел на выставку умный Миша, надел очки, встал на цыпочки и сказал так:

— Поздравляю, Пташкин! От всей души поздравляю. Это тебе не портрет. Сразу видно, что теперь тебя учили правильно. Ведь это только подумать, сколько надо усердия, чтобы помидоры нарисовать такими красными, а огурцы — такими зелеными. А что касается терпения, так и говорить нечего: ведь одной картошки здесь, пожалуй, килограммов пять будет, не меньше. Ну, теперь-то уж можешь мне поверить, что как только академик Щеголь увидит эту картину, так сразу же он и прославит тебя на всю нашу улицу, как прославил Леонардо да Винчи.

Так он сказал и стал вместе с Сеней Пташкиным поджидать академика Щеголя.

Поджидали они его до самой ночи, но академик Щеголь так и не пришел.

Позвонили ему по телефону. К телефону подошла какая-то старушка и ответила набожным шепотом:

— Какие там картины, когда они даже с постели встать не могут, так у них к дождю разыгрался ревматизм!

— Вот тебе и раз, — сказал Пташкин, — как же теперь быть? А не может ли кто-нибудь другой оценить мое искусство?

— Нет, — сказал умный Миша, — другого такого ценителя искусства в нашем городе нет, и если ты хочешь прославиться, так должен сам пойти к академику Щеголю, пробраться к нему тайком от старушек и повесить картину в его спальне так, чтобы утром, проснувшись, он сразу ее увидел. И можешь не сомневаться, что какой бы у него ни был ревматизм, но, увидев твое произведение, он просто запляшет от радости, такой он тонкий ценитель искусства.

И Сеня Пташкин, как и прежде, последовал совету умного Миши. Когда кончился дождь, он сдвинул на белокурый затылок кепку, взял под мышку свою картину и пошел к академику Щеголю.

В доме академика было уже темно. Окна раскрыты настежь. В большой комнате, на широкой кровати, освещенной луной, спал академик. Он был такой маленький, сухонький и седенький, что казалось, будто под одеялом вообще ничего нет, и только на подушку кто-то обронил несколько легких светлых пушинок.

Опасливо оглядываясь по сторонам, Сеня Пташкин полез в окно. Все стены спальни академика были увешаны картинами. Только высоко над столом, под самым карнизом, разыскал Сеня Пташкин выцветшее пятнышко обоев и свободный гвоздик. Академик улыбался во сне чему-то прекрасному.

Сеня Пташкин снял свои грязные тапочки и осторожно забрался на стол. Он уже совсем было повесил картину, и оставалось только поглядеть снизу — ровно

ли она висит, как вдруг услышал позади себя шорох и, забыв про тапочки, прямо со стола перескочил на подоконник. Через минуту он уже бежал по ночной улице, и редкие прохожие, глядя на его полосатые носки, шлепавшие по лужам, думали о нем бог знает что.

Почти всю ночь мы не сомкнули глаз, опасаясь, как бы не проспать славу Сени Пташкина. Мы прислушивались к каждому звуку в коридоре, думая, что это слава стучится в нашу дверь. Но под утро мы всё-таки заснули, и спали так крепко, что слава не могла нас добудиться, а когда добудилась, то сердито сказала:

— Оглохли вы, что ли? Распишитесь.

И протянула телеграмму Сене Пташкину.

В телеграмме было сказано: «Всё утро плясал. Счастлив приветствовать юное дарование. Вечером жду в гости. Академик Щеголь».

— Вот видишь, — сказал умный Миша, — я же говорил, что он будет плясать!

Вечером академик Щеголь сам выбежал в прихожую, чтобы встретить Сеню Пташкина. Он выбежал в голубенькой пижаме, маленький, худенький и седенький, ликуя и приплясывая, и две старушки бежали за ним и пытались подхватить его под руки.

Он привел Сеню Пташкина в свою комнату и усадил его на диван.

— Я весь день пляшу от радости, — говорил он. — Ты, наверно, и сам не понимаешь, какой у тебя выдающийся талант, и я просто поражен, что до сих пор твое имя еще никому не известно.

— Очень вам благодарен, — ответил Сеня Пташкин, краснея и смущаясь. — Я так счастлив, что моя картина вам понравилась.

— Какая картина? — спросил академик Щеголь с интересом. — О какой картине ты говоришь?

— Как какая? — удивился Сеня Пташкин. — Вон она висит над столом.

Академик взглянул на стену и воскликнул:

— Да, там действительно висит какая-то картина. А я ее даже не заметил.

— Товарищ академик, я чего-то не понимаю, — сказал Сеня Пташкин и встал с дивана. — Если вы даже не заметили моей картины, так почему вы расхваливаете мой талант?

— А как же его не расхваливать, когда я помолодел лет на сорок и обязан этим только тебе, дружок, — сказал академик и вновь усадил его на диван. — Когда я опустил свои немощные ноги с кровати и сунул их в твои тапочки, которые спросонья принял за свои, так сразу же почувствовал себя не дедушкой своего внука, а внуком своего дедушки. Я попробовал подпрыгнуть, и оказалось, что могу скакать, как девчонка на панели. И когда я сообразил, что дело в тапочках, то бросился к телефону и позвонил на обувную фабрику, чтобы мне объяснили, что произошло — или я сошел с ума, или кто-то принес мне волшебные тапочки. Но мне сказали, что, наверно, я сошел с ума, если, будучи академиком, думаю, что тапочки могут быть волшебными. Так я узнал о твоем таланте.

Через неделю академик Щеголь говорил о Сене Пташкине по радио.

Через две недели он написал о нем статью в газету.

А через месяц прочитал лекцию в клубе.

И теперь вся наша улица знает Сеню Пташкина не меньше, чем Леонардо да Винчи.

Так пришла к Сене Пташкину слава.

А ко мне слава не пришла, хотя я давно уже не хожу ни в кино, ни на стадион, ни на свидания, и с таким же

терпением, с каким Сеня Пташкин писал картины, пишу свои рассказы и сказки.

И хотя я отлично понимаю, что слава — это дым, а не предмет первой необходимости, как, допустим, штаны, без которых не пойдешь даже в баню, но иногда я вздыхаю и гляжу без надежды на свои анонимные тапочки: ах, почему я не умею шить тапочки! Может быть, тогда и меня знала бы вся наша улица, как знает она Сеню Пташкина и Леонардо да Винчи!

СОДЕРЖАНИЕ

ОШИБКА МИСТЕРА ПИККЕРИНГА
Фантастический рассказ
5
УТОПИЯ
Фантастический рассказ
35
МОСКВА
Фантастический рассказ
55
ГОСПОДИН ГОРИЛЛИУС
Фантастическая повесть
73
КНИГА ЧУДЕС,
ИЛИ НЕСКОЛЬКО МАЛОВЕРОЯТНЫХ ИСТОРИЙ
Фантастические рассказы

ПИСЬМО МОЛОДОМУ ДРУГУ
197
УМНЫЙ МИША
202
ПРЕКРАСНАЯ ГЛАША
208
НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ
221
БЕДНЫЙ ШУРИК ПЕТРОВ
227
ПИРОГ С КАПУСТОЙ
233

МОЙ ДРУГ ЛЕНЯ ВЬЮШКИН И ЗЛЫЕ СОБАКИ
241
ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ
247
ПУП
260
АНДРЕЙ ХИЖИНА И ЕГО ГОРЕ
264
БОГИНЯ ДУНЯ
275
ГЛУПЫЙ ВАНЕЧКА
288
ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСЕЛ
300
СТАРЫЙ ЮНОША
307
ЗАБЫТАЯ КЕПКА
318
ВОЛШЕБНЫЕ ТАПОЧКИ
325